

Б И Б Л И О Т Е К А

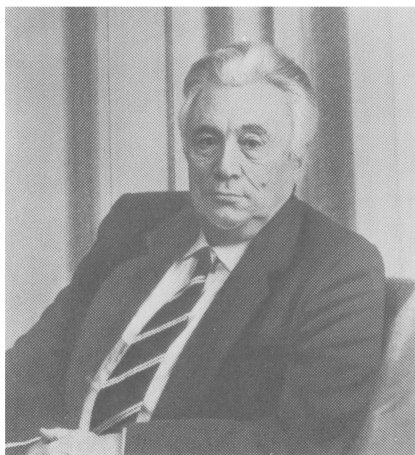
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 42

1988



*Юрий НАГИБИН*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

**В Д О Ж Д Ъ**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 42

Юрий НАГИБИН

## В ДОЖДЬ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1988

## Юрий НАГИБИН

Юрий Маркович Нагибин родился в 1920 году в Москве. Первый рассказ Юрия Нагибина появился сорок восемь лет назад в журнале «Огонек», он назывался «Двойная ошибка» и был посвящен судьбе начинающего писателя.

После короткого пребывания в медицинском институте Ю. Нагибин перешел на сценарное отделение Всесоюзного государственного института кинематографии. В начале 1942 года ушел добровольцем на фронт и до февраля 1943 года находился в рядах действующей армии. Был контужен и по выздоровлении до конца войны работал военным корреспондентом газеты «Труд».

Первые сборники рассказов Ю. Нагибина «Человек с фронта» и «Большое сердце» вышли еще в дни войны. Всего им издано около пятидесяти сборников рассказов и четырнадцать повестей. В 1980—1981 гг. издательство «Художественная литература» выпустила собрание сочинений Ю. Нагибина.

Ю. Нагибин сделал вольный пересказ лесной сказки Ф. Залтена «Бемби», позже экранизированный. Свои критические работы, публицистику, литературные раздумья писатель собрал в две книги: «Не чужое ремесло» и «Время жить». Статьи о Москве составили книгу «Москва... как много в этом звуке...»

Начиная с 1956 года Ю. Нагибин много и плодотворно работает в кино. По его сценариям поставлено около четырех десятков фильмов, среди них «Председатель», «Ночной гость», «Самый медленный поезд», «Бабье царство», «Директор», «Чайковский» (в соавторстве), «Дерсу Узала» (премия Оскара), «Поздняя встреча», «Загадка Кальмана» и др.

## В ДОЖДЬ

Началось все... А с чего началось — не скажешь. В эту пору года жизнь деревни связана с сеном. Но прямого отношения к сену наш рассказ не имеет. И можно было бы начать, что в один из долгих июньских дней Демин Михаил Иванович, 1933 года рождения, холостой, член КПСС, образование среднее, затосковал по женской ласке. Но когда именно почувствовал он эту тоску, сказать без обиняков затруднительно. Скорее всего, она зрела исподволь, а в какой-то момент стала неодолимой, а может, вспыхнула внезапно, хотя, разумеется, не беспричинно. Попробуем не спеша разобраться.

Время для личной жизни было самое неподходящее. До сеноуборочной оставалась еще неделя, но у колхозного инженера Демина эта кампания началась уже давно, а с завтрашнего дня приобретала авральный характер, ибо во всех областях хозяйственной деятельности — дубасовские механизаторы не являли исключения — за ум берутся в последний миг. В текущие же дни колхозники беспокоились о сене в индивидуальном порядке, для своей скотины. У Демина покосы находились в двух местах: в Дубасове, где он жил и работал, и в Пёрхове, где остался родительский дом. Старуху мать Демин не без труда заставил перебраться к себе лет пять или шесть назад, а отец его не вернулся с войны.

На подмогу съехалась родня. Сестра Верушка с мужем-шабашником: когда трезвый, лучше работника и человека не сыскать, во хмелю же неуютен — задиристый, взрывчатый, — они приехали из Глотова, райцентра, где сестра работала бригадиром на фабрике детской игрушки; а из Саратова, подгадав отпуск, прикатил двоюродный брат Сенечка, токарь шестого разряда, не уступавший рабочей хваткой зятю-шабашнику, к тому же культурного нрава. К ним присоединились местные: младший брат Жорка, бригадир механизаторов, живший напротив, и его сын Валера, тракторист призывного возраста. Сам Жорка особо за сено не переживал, его коровенка была на пищу скромная, не то что Говоруха старшего брата, на эту животину не напасешься, даром, что невеличка, вымя мелкое, тугосисее, но дойная до оторопи. Чистая рекордсменка — вся «заготовительная команда» по затычку наливалась жирнейшим говорухиным молоком, и на молокозавод каждый день бидон отправляли.

Говоруха досталась Демину по случаю. У прежней коровы пропало молоко, пришлось отвести ее на базу заготовскота. Возвращаясь автобусом домой, Демин разговорился с попутчиком, мужичонкой из зареченской Ольховки, ладившим перебраться в город. Мужичонка ликвидировал все сельское имущество — и недвижимое, и движимое. К последнему принадлежала корова, о которой ольховский мужичонка не говорил, а пел. Смешно сказать, но Демину пленила ее наружность: белая, как кипень, а чупочки и морда красные, и белая звездочка во лбу. Кота в мешке не покупают, а Демин заглазно корову приобрел, прямо в автобусе отвалил за нее аванс. Конечно, красное оказалось рыжиной, звездочка во лбу не проглядывалась, а вот насчет молока не наврал автобусный трепач. Брат Жорка после шутил: «Женился ты, Миша, по любви, а вышло по расчету».

Хотел Демин ему Говоруху уступить, все-таки в Жоркиной семье на едока больше, но тот наотрез отказался. Валерику осенью в армию идти, а им хватит скупой на молоко Пеструшки. Зато и с кормами особых забот нету. А главное, жена доить не любит,— забалованная, руки бережет. Нарядится с утра и сидит в окне, как в раме, и на улицу глядит. Не глядит, а себя показывает, свою выдающуюся красоту. А любоваться некому, родня и соседи уже привыкли, а посторонние редко на их конце случаются.

Жорка — светлый человек, другой бы на его месте ожесточился на жизнь. Как с армии вернулся, так и посыпалось... Нет, зачем зря говорить, не сразу это случилось, вначале все путем шло. Взял жену по сердцу, она его сыном обрадовала, устроился механизатором, хоть в технике не сильно кумекал, но до того быстро все превзошел, что стал бригадиром. А потом началось! Жена — не хозяйка, белоручка, домом и огородом не занимается, мальчонке сопли лишний раз не утрет. Взял Жорка и сына, и дом на себя. До того доходило, что сам полы мыл и пеленки стирал. Но никогда не жаловался. «Все нормально!» — одна погудка. Потом сын подрос, а Жорка на свою беду дорогами «заболел». Понял раньше других, что без дорог в их глинистой мокрой местности никакая техника не спасет. И сама не спасется. Черный гроб машинам — непролазная, лишь в пожарную засуху спекающаяся местная грязь. Она оборвала все грейдерные дороги, понастроенные после войны; на автодорожных картах они до сих пор нанесены, иные даже желтой полоской, и без числа водителей на том попадает. Едет себе, сердешный, доверившись карте, и забирается в такую непролазь, что трактором не выдернешь. Нужны настоящие дороги: алфальтовые либо бетонные, только они выручат край. Жорка это давно понял и, отчаявшись выжать из предколхоза и послушного ему правления деньги на строительство короткой и самой необходимой дороги от Дубасова до шоссе, сам с механизаторами в неурочное время погнал эту дорогу. Убедил мужиков: когда, мол, дорога будет, правление, хочешь не хочешь, разочтется с нами. Может, и не особо ему поверили, но решили рисковать, потому как видели и во-

дители, и комбайнеры, и даже не зависящие от дорог трактористы и рабочие ремонтных мастерских, что без дорог — зарез. Колхозное правление спохватилось быстро: работы остановили, с людьми расплатились, а Жорку оштрафовали на эту сумму. Ничего он не сказал, только зубами заскрипел и после недели две все за головешку хватался. Началась у него болезнь — гипертония. Тем только и спасается, что японский браслет носит — Демин в Москве достал две штуки, брату и за компанию себе. И в области, и в районе все начальство такие браслеты нацепило — для престижа. Но голова головой, а видел Жорка, что некоторые материалы остались, и предложил брату заасфальтировать семейными силенками машинный двор, чтобы стояли машины на твердом и не засасывало их выше колес в дождевую грязь. Работу они сладили и получили по выговору за самоволку. Старший Демин на том успокоился, а Жорка со своей упрямой больной головой через год попытался достроить начатую дорогу. На этот раз «руководитель», как едко называл предколхоза Жорка, застучал его в самом начале и сдал в милицию, где ему вкалили пятнадцать суток за злостное хулиганство. Конечно, старший брат нашел ходы, Жорку освободили, но что-то важное в душе его обломилось. «Все! — объявил он, выйдя из узилища. — Теперь я дорогам — лютый враг!»

Тяжело это было Демину. Он жалостно любил брата с того далекого, неправдоподобного времени, когда осознал его хрупкое бытие рядом со своим. самого появления Жорки он как-то не углядел, будучи всего тремя годами старше, а когда обнаружил новое, орущее, мокрое, беззащитное существо, то обмер и зажалел его на всю жизнь.

Слишком пристально подумав о брате, Демин схватился рукой за кадык и коротко взрыднул. Странный этот взрыд — его отметина. Если Жорку к внутреннему срыву привели дорожные напасти, то у старшего брата это случилось куда раньше, на заре жизни, можно сказать, когда он вернулся с действительной и узнал, что Талия его не дождалась и вышла замуж. На письма же отвечала и в письмах врала, что ждет, по слезной просьбе его матери, страшившейся, что сын в расстройстве и гневѣ совершит что-то недозволенное строгой военной службой и сломает свою судьбу. Служил Демин в танковых частях и служил удачно. Уже в первый год обнаружил он редкое чутье к технике и был определен в мастерские, где прошел серьезную и любую ему науку. А вернувшись домой и узнав об измене Тали, он, отличавшийся молчаливой скупостью на всякое проявление чувства, издал горлом жалкий захлебный звук и схватился рукой за кадык, будто тот стал ему поперек дыхания. И услышав этот задавленный взвой своего квадратно-глыбного — танком не сокрушишь — сына, мать зарыдала и навсегда испугалась за него, как он боялся за младшего брата, а сама она сроду ничего не боялась. Так и стали они жить, связанные цепочкой страха, не делавшего их слабыми. Широкогрудые, плечистые, громадной мышечной силы — и в восьмидесятилетней матери проглядывали былая стать и мощь, — на чуть

подкривленных, но прочнейше упирающихся в землю ногах, Демины были столь же крепки верностью, преданностью земле, делу, людям, памятливой добротой, снисходительной к чужой малости, слабости, даже порокам. В нежной сердцевине каменных с виду богатырей рождались и слезы матери, и боль, сжимавшая обручем голову Жорки, и влажный взрыд Михаила.

Узнав об измене Тали и родив в горле горестный звук, выбивший слезы у матери — вон когда научилась плачу солдатка, без слезинки проводившая мужа на войну и без слезинки принявшая от почтальона похоронку, — Демин не смирился с поражением, не поставил крест на своем чувстве. Он пытался вернуть Талю, которую простил сразу и навсегда. Но и та оказалась на свой лад богатырской породы. Выполнив просьбу старухи Деминой, не пошла ни на какие объяснения с бывшим женихом. «Не надо. Что сделано, то сделано», — были единственные ее слова при встречах, большей частью случайных — жили они теперь в разных деревнях. Лишь раз расщедрилась Талья на подробную речь: «Нечего прошлое ворошить, возврата туда нету. У меня дитя народилось, я ему отца менять не стану». «А ты счастлива?..» — Демин вздохом заменил ненавистное имя Веньки Тюрина, сельского интеллигента средних лет, «коровьего фелшара», как его величали старухи. Венька учился в Москве, совсем было пропал там и вдруг вернулся и отбил у него Талю. Правда, в «отбил» Демин не больно верил — хлипок душой и телом Венька, настолько хлипок, что на него рука не подымалась. Демин не любил драк и, будучи человеком трезвой жизни, почти никогда в них не участвовал, но все же не исключал кулачную расправу из мужского обихода. Честная драка, когда все другие аргументы исчерпаны, — законное дело. Но с хлипким сельским интеллигентом Венькой не могло быть честной драки. Демин с самого начала знал, что все решила сама Талья и подвинула на подвиг размазню Веньку. Тонкая, упругая, как хлыст, и с такой же душой — ее не подчинишь, не сломаешь, а и согнешь, так распрямится и тебя же в кровь охлестнет. И в их дружбе, начавшейся со школьных дней, она, хоть и младшая годами, была ведущей. Незадолго до расставания позволила обнимать себя и целовать, но дальше Демин пойти не решился, боясь ее оскорбить. А надо было решиться — бережь бережи рознь. Тогда бы дождалась. Даже если б не понесла. Стыдно было б ей, не сохранив чести, с другим окучиваться. А сейчас Талья в грош не ставила их прежние отношения, детские ласки и признания. Трудный у нее характер, жесткий, тесный и губы тонкие, всегда сжатые, даже в поцелуе. А может, Венька сумел их разомкнуть? Никогда он ничего от нее не узнает. Заперта на все замки. Что это — гордость или злая узость в ней?.. Она резко отвергала не только попытки объяснений, но и простые знаки внимания: связку вяленой рыбы или грибов, какой-нибудь московский гостинец для пацана, детскую игрушку — ничего не принимала — с каким-то даже ожесточением, будто он перед ней виноват. А может, она и впрямь его винила, что, уходя в армию, не сделал



своею?.. У баб ум набекрень, все на свой манер вывернут. Он бы оставил ее в покое, если б верил, что она счастлива. Но такой веры почему-то не было. Про себя же он с годами узнал, что ни с одной женщиной — даже в полноте любви — не будет ему так горячо и нежно, как в сухой возне с Талей. Запах ее бледноватой, не смугляющей на солнце, а розово обгорающей кожи, запах ее светлых длинных слабых волос навеки проникли ему в нутро, и все другие женщины невкусно пахли, даже sprysnushis'я «Красной Москвой». И мягкая влажность тонкогубого рта, когда он со всей силой впивался в него своим жестким ртом, убила сладость всех других румяных, полных, нежных, жадных женских уст. Отравила она ему кровь, и ничего тут не поделаешь...

Демин сжился со своей странной бедой, как сживаете человек с горбом, культей или кривым глазом. Живет, трудится, гуляет в праздники, разные испытывает желания, вроде и не помнит о своем увечье. Ан, помнит, последней глубиной никогда о том не забывает, иной же раз так вспомнит, что зубами заскрежещет и слезу сронит. Демин вкалывал за троих, нечеловечьей мукой вместе с братом вытягивал сельхозтехнику, которую безжалостно гробило местное бездорожье (вазовские моторы вместо положенных тридцати тысяч восьми не набегивали, задние мосты «уазиков» на колдобинах напрочь срывало), и по дому успевал: то мебель купит, то обоями все стены оклеит, то терраску или каморку пристроит, то туалет на городской клад оборудует, только без слива, а на естественный провал. И не скрежетал он зубами, не ронял слез, разве что не удерживал иной раз короткого взвоя. Правда, обнаруживалась в нем некоторая чудина, не идущая такому положительному и серьезному человеку. Он тяготел к оптовым покупкам, чего бы ни брал, старался взять побольше, хотя и к вещам, и к еде был равнодушен. Много было женской одежды, которую он покупал вроде бы для матери, хотя иные вещи заведомо не годились ей по возрасту и размерам, а другими она пренебрегала, донашивая старые добротные платья и кофты. Были у него и замечательные игрушки из «Детского мира» — их он покупал для Талиного парня, но получал неизменно назад и не выбрасывал, жалея красивые изделия. Случалось, он дарил что-нибудь детям дачников; у родных и соседей не было маленьких детей, а внуки появлялись уже в городе. Странно выглядели все эти рычание при наклоне медведи, куклы с закатывающимися бессмысленными глазами, автомобильчики, парходики, самолетики и трехколесные велосипеды в холостяцком доме, не слышавшем голоса ребенка. Была и другая, более подходящая Демину подвижность: в длинном гараже из ребристого железа стояли «Волга», мотоцикл с коляской и мотороллер, там же висел на стене лодочный мотор «Москвич», хотя местная речка Лягва была несудоходна, в засушливое лето ее курица вброд переходила. «Волга» тихо ржалела снизу, не накатав и десяти тысяч, в редкие выезды он тянул машину трактором «Беларусь» на листе железа до грейдерной (по прозвищу) дороги, ведущей в райцентр. Мотоциклом с ко-

ляской по причине бездорожья вообще не пользовался, и тот стоял на приколе, сверкая первозданной голубизной, не замутненной прахом верст (Демин что ни день драил ее замшевой тряпкой), а вот на мото-роллере в иное погожее время доезжал и до магазина и даже в соседние деревни наведывался, хотя порой приходилось тащить его за рога; были такие места в дубасовском пространстве, к примеру, перед клубным крыльцом, которые сроду не просыхали, будто выкачивались туда воды из подземного озера.

Думается, не только в деревне или райцентре, но и в самой столице едва ли встретишь столь оснащенного и обеспеченного всем, чего душа пожелает, человека, как Михаил Демин. А ведь для себя ему ничего не нужно: телевизор он не смотрит, времени не хватает, редко, да и то через черную тарелку, висающую на кухне, слушает радио — тарелка не выключалась, по ней передавали колхозные новости и распоряжения; ездить ему некуда да и не проедешь; случается, напяливает на себя какой-нибудь клетчатый пиджак или кожаную куртку, но вида все равно нету, потому что джинсы или вельветовые брюки приходится заправлять в подвернутые под коленями, а то и натянутые по самую задницу резиновые болотные сапоги. И обычно Демин обходится бумажными штанами, ковбойкой и ватником.

Похоже, что какой-то неделовой, схороненной от разбитых машин, запоротых моторов, потонувших в грязи комбайнов, охромевших тракторов, пьяных слесарей, кузнецов-халтурщиков, скрытой от всех и от себя самого частью души он жил в воображаемом мире, в котором неведомо как осмыслились его бессознательные поступки. Если попробовать расшифровать эту тайную жизнь Демина, то обнаружится он в ней главою большой требовательной семьи, на которую не напасешься, а капризнице жене подавай все новые наряды (да и сам держи фасон), и чтоб бензиновые кони ждали у ворот, бия от нетерпения шинами, и быстрогоходный катер содрогался в готовности вспенить воды Лягвы, и напрягался весь животный мир для пущей семейной сытости: чтоб вышибала донце из ведра тугой молочной струей Говоруха, куры несли яйца больше гусяного и ускоренно нагуливал розовое прозрачное сало дюжий боровок в закутке, стремясь к пику формы, когда ему всадят тонкую сталь под переднюю левую ногу.

Это тайнодумие, или тайночувствие, оставалось скрытым даже от его спящей души, когда многое гонимое дневным сознанием выходит наружу, пусть порой и в зашифрованном виде, но все же позволяющем догадаться о сути. Он был настолько во власти безотчетности, что даже не помнил о своих покупках. Бывало, задев в ночной темноте плюшевого мишку и услышав его недовольную ворчбу, он замирал, думая, что потревожил живое существо, и недоумевал, как завелось оно в доме.

От матери не укрылся больной, ну, если и не больной, то ущербный смысл избыточных, ненужных приобретений сына. Она долго крепилась, но раз, встречая вернувшегося из города и как всегда нагружен-

ного свертками Михаила, не удержала слезу. Преисполненный ответной жалости к матери и смутным чувством какой-то своей вины, Демин растерянно бормотал: «Ну, ладно, маманя!.. Чего там!..» «Ох, сынок, зачем нам все это?.. И кому достанется?.. Во сне ты, что ли живешь?» Демин молчал. «Уйду я от тебя», — вдруг сказала мать. — Есть у меня свой угол». «Да что ты, маманя? — испугался Демин. — Нешто нам плохо вдвоем?» «Плохо, сыночек, плохо. Не могу я на тебя глядеть. Сколько же можно так маяться? Неужто ты порченный какой и за тебя ни одна девка не пойдет?» «Да где их взять, девок-то? — не глядя матери в глаза, оправдывался Демин. — Как в цвет входят, так из деревни — дёру. Не приживаются девки на нашем грунте». «Да ведь гуляешь ты с женщинами, Михаил, я же знаю. Что ж, они только для баловства хороши, и ни одна женой работы не справит?» «Не придутся они тебе, маманя», — врал Демин. «Не обо мне речь. Мне теперича любая придется, лишь бы ребяточка выносила. Я уж не запрашиваю. Мне бы внучка перед смертью покачать». «Ну, а мне-то как с нелюбой жить?» «Стерпится — слюбится... Нельзя целый век о Тальке вздыхать. Да на кой ляд она сдалась, пустокормок, кабы и сама попросилась? С тремя детьми, старший уж армию отслужил. Сухара, одно слово!» «Ладно, мамань, — морщился Демин. — Напрасно это. Она к нам не просится». «Молчу, молчу, уж и слова о ней не скажи. Надо же! — удивлялась мать. — Какое счастье девке светило!» — и призрак чужого счастья зажегал ее потухшие глаза.

В тот день, о котором идет наш рассказ, с утра принялся дождь, хотя ночь была чистая, звездная, и появилась надежда, что погода наконец-то установится. Бюро погоды тоже обещало «без осадков», правда, что-то сбормотнув о циклоне над Тянь-Шанем, а дубасовцы знали: циклон в любой точке планеты оборачивается для них дождем, такая уж чувствительная местность. Пришлось срочно закопнить разбросанное накануне для просушки сено. В связи с этим терпеливый саратовский кузен Сенечка вдруг вспомнил, что отпуск у него кончается, а сено все еще не убрано. Демин нарек понял и поставил к позднему завтраку бутылку армянского коньяка «пять звездочек». Сенечка так засмущался, что жидкость пошла ему не в то горло. Чуть не задохнулся, насилию отходили. А зять-шабашник, хвативший где-то накануне, красноглазый, подпухший и злой — жена не давала опохмелиться — заявил, что даром тут время теряет, его зовет печник класть печи в новых домах для доярок. «Нешто мы на чужих ломаемся?» — на высоких нотах завела Верушка. «Кабы на чужих — так бы меня и видели! — веско произнес шабашник. — По-родственному терплю из последних сил». И уверенной рукой взяв бутылку, налил себе полный граненый стакан. Жена глянула возмущенно и... промолчала. Момент был тонкий и опасный, муж мог и впрямь подорвать. Шабашник выпил, сморщился, некрасиво вывернув мокро-пунцовый подбородок нижней губы, обронил брезгливо: «Не люблю!.. И чего в нем интеллигенция находит?» Приняв на свой счет слово «интеллигенция», Сенечка счел нужным вступить за честь напитка.

«Ты букета не чувствуешь, Адольф. Его нельзя рывчуном брать, смаковать надо. А весь смак — в букете. Знаешь, откуда букет? От выдержки. Пять звездочек — значит его пять лет в бочке держали, не трогали. Чувешь, какая выдержка? Выше этого армянского только марочные сорта и небо». «Не убедил...» — капризно сказал шабашник Адольф (он уверял, что спивается из-за своего позорного имени) и потянулся к бутылке. «Хватит, окаянный!» — Верушка пришла в себя и вновь овладела положением. Адольф молча убрал руку, он умело использовал свой шанс, на большее рассчитывать нечего. Выбив из пачки сигарету прямо в щербину между зубами, Адольф вылез из-за стола. «Пошел корячиться, а вы как хотите!» «Ох ты! — вскинулась маленькая осмугленная без солнца дочерна Верушка. — Тоже мне герой-передовик!» — и чуть сдвинула с выгоревших бровей низко и туго повязанную косынку.

Демин с щемящей нежностью смотрел на сестру. Золотой, безотказный человек! Надсаживается в бригадиришах, понуждая к честной работе самовольных и языкастых городских баб, и весь дом на себе тянет — от шабашника какая польза? Заколачивает он порядочно, а пропивает еще больше. Верушка, можно сказать, в одиночку подняла семью, детям образование дала: дочь — учительница, замужем, сын — лейтенант милиции в Вильнюсе, и не то чтобы палкой на перекрестке махать или с алкашами возиться, он по ученой части — лекции об уличном движении читает; жена у него — инженер, парни-близнецы будут десятилетку кончать. Но две молодые и вроде бы самостоятельные семьи не могут прожить без Верушкиной помощи: она им и деньги на разные покупки шлет, и всякое варенье-соленье, и внуков на лето забирает да еще находит время остальной родне подсобить. Всегда бодрая, невеста чем довольная, знай улыбается сухими, истрескавшимися губами, а глазом шарит: где бы чего прибрать, починить, залатать. Она и в девчонках такой была: худенькая, быстрая, локотки острые так и колют воздух, и все ей работы не хватало, ужасно боялась не истратиться до конца. И кому достался такой клад!.. Ей бы женой директора быть, офицера танковых войск или начальника пожарной охраны... А ведь она любит своего охломона! — осенило вдруг Демину. Значит, есть в нем что-то, чего другие не видят, а и увидели бы — мимо прошли, но для Верушки важное, нужное. Ведь он, Демин, совсем не знает, что такое жизнь с близким человеком, жизнь вплотную, может, тут появляется такое сильное и проникающее чувство друг друга, что грубая, поверхностная очевидность гроша ломаного не стоит. А стоит лишь то, что дается тайновидением. При мысли, что он никогда не узнает такой слякитности с женой, Демин на мгновение утратил контроль над собой, и короткий взвоя вырвался из его просторной груди.

Мать подняла на него усталый взгляд, сестра потупилась, Сенечка нервно плеснул в стакан армянского, а стоявший у печки с сигаретой в зубах длинновязый, тяжелорукий племянник Валерка опрометью кинулся в сени. Он не мог привыкнуть к этим жутким сигналам тоски, за-

давленной боли, мерещилось что-то темное, невыносимое, убивающее желание стать взрослым.

Сам же Демин обычно не замечал своего стона, не заметил его и сейчас, но смутно почувствовал какое-то напряжение, замешательство. В таких случаях хорошо принять решение, толкающее жизнь дальше:

— Поеду-ка за пёрховским сеном, — сказал он веско.

Он знал, что фраза его ничего не разрешила, что-то повисло в воздухе, повисло в нем самом, но и так слишком долго его мысли бесплодно блуждали, не порождая никакого действия. Он не любил ковыряться в себе. Если все время задаваться вопросами: с чего да почему, кончится всякая внешняя жизнь, единственно обладающая смыслом, ты завязнешь в томительных вопросах, забуксуешь мозгами, как в дубасовской грязи на стертых покрышках.

Сейчас его мысль собралась и повернула к конкретным вопросам: на какой машине ехать, взять ли с собой кого на подмогу. И то, и другое он решил сразу, как обычно решал всякие хозяйственные дела: поедет на «МАЗе» — сильная, проходимая машина, к тому же мотор недавно сменили и на задние колеса цепи поставили, а возьмет Жорку, тот давно не видел их старого дома, где они родились и выросли. На отшибе стоит заброшенное Пёрхово, не участвующее в экономической жизни колхоза, сейчас там едва ли пяток обитаемых домов наберется. Взгляд в окно подтвердил, что Жорка дома, да и где ему быть: они переиграли выходной день с воскресенья на субботу, чтобы с завтрашнего дня вкалывать без передыха.

Демин совсем было собрался идти за грузовиком, но тут вспомнил о постояльцах, которых ему навязал приехавший из Москвы с семьей на отдых мастер холодильных установок Толкушин. Был он уроженцем Канавина, лежащего километрах в четырех по течению Лягвы. Демин знал его с детства, но впервые обнаружил, что они родственники, когда Толкушин, приехавший на своем «жигуленке», попросил у него трактор и железный лист, чтобы добраться до родного порога. «Выручи, Мишутка, всеж-ки мы одна кровь». Демин и так бы ему помог по старому знакомству, но просьба родича свята. Поэтому он и слова против не сказал, когда Пека Толкушин попросил принять на постой двух московских людей: журналиста и еще кого-то — Демин не понял. У них был свой интерес в здешних местах: то ли церкви осматривать, то ли раков лудить — замороченный сеном, Демин не стал вникать. Да и какая ему разница, кто они, важно, что родственник просит. Хотя хуже времени трудно было выбрать — в доме полно народу, дел невпроворот, и, как ни крутись, не окажешь гостям должного внимания. Москвичи прибыли пешим строем, машину бросили на шоссе возле почты, и Демин отвел им боковушку, дал постельное белье, одеяла, подушки, домашние туфли. Журналист был тучным, задышленным стариком, с мешками под коричневыми усталыми глазами и белым пухом волос, он знал, что отыгрался, но по инерции продолжал суету жизни. Таких Демин видел не-

мало. А вот другой его заинтересовал. Был он без возраста: то ли под сорок, то ли крепко за шестьдесят, поджарый, с обнажившимся костяным лбом, но без седого волоса, гибкий, ловкий, с проворными руками. Он мгновенно разобрался, что к чему и что где лежит, как будто домой вернулся, и через полчаса по приезде уже варил на кухне соблазнительно пахнущую солянку. К удивлению Демина, все острые приправы гость нашел в его доме. Назвался он Пал Палычем. И странно, услышав нехитрое имя-отчество, Демин испытал легкий внутренний толчок, готовый обернуться воспоминанием, но так и не ставший им. Он готов был поклясться, что уже видел этого складного и чем-то соблазнительного человека, но где, когда?.. Хотелось поговорить с приезжими, особенно с Пал Палычем, может, тот подскажет, где могли они видаться, да не выбрать минуты свободной. А сейчас он ощутил необходимость что-то сделать для гостей. Надо украсить их быт. Забрав в гостинной три «полотна», копии которых, как он понял, находились в Третьяковской галерее: «Аленушка», «Неизвестная» и «Богатыри», а также вазу с бумажными цветами, он вдруг задумался, с какой стороны приходится ему родственником Пека Толкушин. Демины и Толкушины из разных мест и разного корня. Может, по женской линии? Пекина двоюродная сестра замужем за ихним председателем, но Демины с ним не родня. Старуха Толкушина в свойстве с тещей кузнеца, но кузнец Деминым вовсе чужой. Жена Пеки вроде калужанка, тут искать нечего... Внезапно он почувствовал усталость, стоит ли ломать над этим голову, при случае он спросит Пеку, а сейчас надо создать людям культурный отдых.

Он вошел в комнату, пропитанную табачным дымом. Постояльцы в спортивных костюмах и носках лежали на кроватях и читали. Пал Палыч нещадно дымил. Журналист с набрякшими подглазьями отложил книгу и улыбнулся Демину.

— Хозяин?.. Милости просим.

— Извините, конечно, — сказал Демин. — Я тут кое-что принес... Чтобы вам красиво отдыхалось.

— Что, что?.. — вскинулся Пал Палыч и ловко сел на кровати, по-турецки скрестив ноги. — Да бросьте! — сказал брезгливо. — Кому это надо?..

— А что? — смутился Демин. — Хорошие картины. — Он прищурил ся и прочел: — В. Васнецов, И. Крамской... обратно В. Васнецов.

— К тому же подлинники! — хохотнул Пал Палыч.

— Заткнитесь, — тихо сказал журналист. — Человек от чистой души... Спасибо большое, — повернулся он к Демину. — Вы не беспокоитесь, мы сами повесим. Мой друг — специалист по живописи.

— Нешто мне трудно гвоздь прибить? — обрадовался его интонации Демин.

Он поставил вазу с цветами на холодильник, вынул из кармана гвозди, достал из тумбочки молоток и стал принаравливать, как бы половчее повесить картины.

- Дивный букет, — заметил Пал Палыч. — Воду надо часто менять?
- Они же бумажные, — удивился его наивности Демин.
- Заткнитесь! — опять сказал журналист, пристально глядя на Пал Палыча.

За долгие годы знакомства, хотя виделись они не часто, будучи людьми разрезной жизни, он так и не постиг до конца характера Пал Палыча. Тот был крайне сентиментален, причем с возрастом эта черта все усиливалась; его песочные ресницы частенько темнели от слез, исторгнуть которые могли — стихотворная строка, страдания, болезнь и смерть литературного героя, несчастливый конец фильма, вид старой почерневшей иконки, нежный изгиб севрской статуэтки. Вся эта чувствительность проявлялась лишь в столкновении с искусственным миром; жизнь в ее естественном образе не действовала на слезные мешки Пал Палыча. Как замечательно разделились в нем поэзия и правда. Беззащитность перед первым, ледяной холод — второму. Его ничуть не трогал доверчивый жест доброты этого постороннего человека, бескорыстно пустившего в дом незнакомцев, давшего им постель и стол и еще заботившегося о «культурном» оформлении их быта.

— Чем картинки вешать, — послышался высокий резкий голос Пал Палыча, — лучше бы вонь ликвидировали!

— Какую вонь? — не понял Демин.

— У двери. Как выходишь — шибает, аж с ног валит. Что у вас там, покойники захоронены?

Демин повесил на стену «Богатырей», глянул — ровно ли, и пошел к двери. Нюхнув раз-другой, он ничего не почувствовал. А несло там нестерпимо, каким-то спертым, душным, ядовитым, опасным для жизни смрадом. Густой, как патока, он не распространялся по комнате, а стоял стеной возле двери; таким образом, пронизав невеликую толщу, ты оказывался в обычном запахе изыанной боковухи: дерева, заоконной дождевой сырости и устоявшейся легкой прели. Словом, незачем было заводиться. Но Пал Палыча бес обуял.

Журналист сказал мягко:

— Там, правда, пованивает. Ничего страшного нет. Может, крыса сдохла?

— Нету у нас крыс, — еще более озадачился Демин и позвал мать.

Старуха быстро приковыляла — любила быть полезной. Понюхав, где указали, она тоже не расчуяла вони. Крестьянские носы, привыкшие к крепким запахам хлева, свиного закута, насеста, навоза, не обладали городской чувствительностью.

— Да нюхните хорошенько! — закричал Пал Палыч, вскочив с кровати.

Он подбежал к ним и со свистом втянул воздух своим хрящеватым носом.

— О, ужас!.. О, смерть!..

— Правда, Миш, вроде, несет маленько, — неуверенно сказала мать.

— Маленько! — передразнил Пал Палыч. — Ничего себе маленько!.. Конец света!.. Гибель Помпеи!..

И странно: Демину казалось, что все это уже было когда-то — и возмущение Пал Палыча, и тяжелая растерянность окружающих, экое наваждение, прости господи!.. Он открыл холодильник, заглянул в него, выдвинул нижний ящик, откуда накануне взяли телячью голову и голяшки для холодца. Сегодня этот холодец в тарелках, блюдах, тазах стоял по всему дому.

— Надо так думать, — глубокомысленно изрек Демин, — что головка протухла.

Журналист почувствовал позыв к рвоте, за завтраком он на пару с Пал Палычем опустошил глубокую тарелку холодца.

— Чепуха! — авторитетно сказал Пал Палыч. — Зачем на теленка валишь? Студень свежий.

— Свежий? — обрадовался Демин, любивший холодец. — Я еще не пробовал.

— Свежайший! — Пал Палыч нагнулся и стал хлопать дверцами старого фанерного буфета. Мелькали пачки с печеньем, шоколадные наборы, банки с вареньем и джемом, упаковки сыра «виола», банки маринованных огурцов.

— Богато живете! — вскользь одобрил Пал Палыч. Он открыл очередную дверцу, и оттуда вырвался ликующе Великий Джинн смрада, некая правонь, от которой пошло в мире всякое смердение и тухлота.

Пал Палыч держал на мочальной веревке связку вяленой рыбы, то ли плотвиц, то ли красноперок.

— Вот она, душечка!

Демин взяв связку, понюхал, небрезгливо помял рыбешку.

— Она же вяленая... — проговорил неуверенно.

— Плохо проявил, брат! — ликовал Пал Палыч. — Стухла твоя плотва.

— Это не моя, Сенечка наловил, — поправил Демин.

— Выброси ее в сортир, — распорядился Пал Палыч.

— Нельзя, — сказал Демин, наконец-то учуяв вонюцу, — туда куры подлазят.

— Закопай в сад!

— Собачонка может отрыть.

— Скорми кошке, — посоветовал журналист.

— Нешто она ее возьмет? Балованная!..

— Да выбросьте вы ее к черту! — взревел Пал Палыч. — К чему столько болтовни?

— Как же так? — скривился Демин. — Значит, пропали Сенечкины труды?

Журналист с любопытством посмотрел на Демина: сильное до грубости, обветренное лицо, сталь зубов в улыбке, плечи гиревика, ручки



лопатами. И надо же, какая деликатность, какая тонкая бережность к чужой душе!

— Я их на терраске новой повешу, — сообразил Демин.

— Там Адольф трудится, — напомнила мать.

— А ему водкой и табаком все обаяние отшибло. Он намедни чуть ацетону не хватил.

— Ну и неси туда! — распорядился Пал Палыч. — Хватит тут вонять.

Пристроив связку рыбок так, чтобы Сенечка мог увидеть и сам распорядиться ее дальнейшей участью, Демин отправился за грузовиком.

До реки он дошел по обкошенной луговине. Завяз лишь возле ключа, там и в сушь было потное место, на которое каждую весну прилетала пара чибисов. Провалился глубоко, — хорошо сообразил натянуть до отказа болотные сапоги, а вот выдернуть кол из тына забыл, за что и поплатился — насилу вылез, извальявшись в грязи. К реке по скосу он сехал на подошвах, растопырив для равновесия руки. Здесь помылся и проверил вершу, затопленную на излучке под старыми ветлами. Верша оказалась пустой — отчего-то сорвало клеенчатую завязку на горловине. Он пристроил завязку на место и утопил вершу. Потом отломил сухой толстый сук березы и по скользким мосткам, помогая себе суком-шестом, перебрался на другую сторону. Мимо молокозавода, кисло воняющего выплеснутыми в грязь пробами, он поднялся к деревенской площади, где располагались клуб и магазин.

Оба здания были отрезаны от большой земли огромными лужами в грязевых топких берегах. Но к магазину был сделан подход из кирпичей и досок, нечто вроде лавы, клуб же напрасно соблазнял дубасовцев объявлениями о новом художественном фильме и вечере танцев под фонограмму «Голубых гитар» — к нему можно было пробраться разве что на ходулях. Демин двинулся по окружности площади, прижимаясь к плетням, под ними земля была прочной. При этом он не упускал из вида магазин, куда то и дело заходили люди, но назад почему-то не выходили, словно поселялись там. В витринах за рекламными пирамидами «завтрака туриста» и новой рыбки «минтай» творилось шевеление цветных пятен, но игра красок не обернулась чертами продавщицы Лизы, с которой Демин дружил. А хотелось хоть в промельке увидеть ее горячие крепкие скулы.

Самая грязная грязь начиналась за околицей, и, хотя до машинного двора было рукой подать, Демин потратил немало времени на одоление последних метров. Это ж надо, чтобы главная опора сегодняшней деревни — трактор стал ее злейшим врагом. Лошадь так не умучивали в старое время, как сейчас трактор. На нем не только пашут, боронуют, убирают, возят грузы, навоз, силос, сенаж, доставляют людей в поле и с поля, но ездят на рыбалку, в гости к знакомым, на любовное свидание, на прогулку. Трактором изжеваны все деревенские дороги, улицы и площади. Исчезла прелесть тихой зеленой сельской улицы с телком или козленком на привязи, разморенными жарой добродушными пса-

ми, с курами, гусями и пушистыми их выводками — от плетня до плетня во всю ширину — непросыхающая, непролазная грязь, чудовищные колдобины, рытвины с водой, одно слово — мерзость. Попробуй пройтись с гармошкой на вечерке, попробуй найти сухую, твердую площадку для пляски, даже на лавочке у плетня посидеть да на людей поглядеть, лузгая семечки, — несбыточное дело: куда ноги девать?

— Но трактор не виноват, машина не бывает виноватой, — думал Демин. — Люди придумывают технику, а справиться с ней не могут. Отжили век проселки, большаки и немощные сельские улицы. Или — асфальт под колеса, или вертайся к лошади. Иначе жизни не будет...

Смятенный вид родной земли... И как же хорошо на гиблом фоне гляделась асфальтовая площадка машинного двора, на которой прочно стояли комбайны, сеялки, жатки, косилки, бульдозеры, траншеекопатели... Эти готовые к бою машины казались вознесенными над всем остальным собранным для ремонта, восстановления и разбора железом, которое медленно погружалось в предвечную хлябь, поскольку не хватало асфальта для всего нужного технике пространства.

Пробираясь к гаражу, Демин услышал, что в кузне ухает молот. Вот те раз! — выходной день, а кузнец трудится. Неужто этого поддавалу и склочника прошибла тревога за сеноуборочную? Горячий цех был в долгу перед ремонтниками, вот Федосеич и решил пожертвовать отдыхом для общего дела. Огтявленный хабарщик, Федосеич был на хорошем счету у «руководителя», потому что всегда брал самые высокие обязательства, не затрудняя себя мыслью об их выполнении. Но проняла и его общая забота. Демин довольно улыбнулся и потер щетинистый подбородок, а, черт — опять забыл побриться. Он без обычного раздражения глядел на водочные и винные бутылки, заполнявшие все емкости перед кузней. То была странная привычка Федосеича: ему в голову не приходило унести пустые бутылки с собой и сдать их на пункт приема вторичного сырья или просто выбросить.

Демин толкнул дверцу и вошел в жаркое нутро кузни. Полыхал горн; Федосеич и его подручный с раскаленными от огня и опохмелки лицами трудились с тем старанием, красивой ловкостью и серьезностью, что достаются лишь левой работе. В грохоте двух молотов не слышен был взыв душевной боли и разочарования вошедшего человека. Демин ничего не мог сделать Федосеичу, о чем они знали оба, — попробуй найти другого кузнеца. Но и Федосеич нуждался в кузне, поэтому, ничуть не боясь инженера колхоза, все же старался не доводить его до остервенения, когда человек перестает думать о последствиях своих поступков. Демин понимал всю тщетность слов, если они обращены к такому дремучему сердцу, как у дубасовского кузнеца, к тому же с завтрашнего дня начинался аврал и опасно раздражать нравного, нетрезвого старца. Но что-то сказать необходимо для собственного спасения, а то не ровен час сосуд лопнет, и так вечно молчишь перед глупостью, наглостью и чтущим лишь собственную выгоду напором.

— Неужто для бутылок другого места нету? — произнес он шатким от изворота голосом.

Кузнец оглянулся, будто знать не знал о его присутствии. Медвежьи глаза как лезвием чиркнули.

— У меня нету. Не нравится — возьми да убери.

— Я тебе не уборщица. Свое свинство сам затирай. Или катись отсюда к чертовой матери!..

Вот бы такие слова да по главному поводу: мол, кузня не частная лавочка, халтурщик ты и ханыга! А это выстрел, хоть и в упор, да холостой — кузнеца пустыми бутылками не убьешь. Так оно и было: Федосеич презрительно усмехнулся и гаркнул помощнику: «Ровнее держи, безрукий черт!»

«МАЗ» был старый, битый, из капиталки, но крепко, надежно залатанный, с форсированным двигателем — над чем потрудился, по обыкновению с успехом, изобретательский гений Демина. Машина — на редкость мощная, и если не бояться выжимать из нее эту мощь под угрозой сломать шею, то она способна одолеть любое бездорожье, благо обута в железные сапоги. Демин уже взобрался на сиденье, когда подбежала Васёна, колхозная делопроизводительница, и протянула телефонограмму из райцентра. Отправил ее предколхоза, с утра уехавший в Глотов на совещание: в близости сеноуборочной дергалось районное начальство и само дергало руководителей хозяйств, мешая им заниматься прямым делом. Предколхоза извещал, что ему удалось вырвать новый мотор для «узки», который необходимо срочно забрать, сам он без машины. Это было слишком серьезно, чтобы кому-то передоверять, — пёрховское сено подождет.

И Демин погнал грузовик в сторону, прямо противоположную той, куда собирался. Тактика езды на «гончем» «МАЗе» была проста, но требовала крепких нервов. Надо ломить на третьей скорости, выбирая по возможности места более проходимые, пренебрегая тем, что машина кренится на бок, вот-вот перевернется, что ее заносит и норовит сбросить с дороги, что нос клюет в полные воды рытвины и лобовое стекло ослеплено рыжими заплесками, что глаза залиты потом, а весь ты через полчаса такой езды — как отсиженная нога. Но если хватит выдержки не притрагиваться к сцеплению и тормозам и знать лишь одно — вперед, то ты доедешь, наверняка доедешь.

И Демин ехал. Оглушенный, ослепший от пота, разбив в первые же минуты колено о щиток, он гнал и гнал машину по лужам и вязкой грязи к грейдеру, изжеванному, разбитому, в рытвинах и ухабах, но все же более надежному, чем этот большак. У перекрестка к машине сунулась старуха с рюкзаком на длинных лямках. В поднятой руке она сжимала рублевку. Обычно Демин подбирал на дорогах всех «голосующих» и сроду не брал ни с кого денег, но, остановившись сейчас, на том бы и кончилась его поездка. Здесь было самое гиблое место, которое надо проскочить с разгона. Он резко вывернул руль, чтобы объехать старуху, успел

заметить, что она долговязая, худая, с темным недобрым лицом; пробуксовывая, вполз на грейдер, рухнул в рыжее озерцо, вслепую, не давая затащить себя в кювет, проехал с полкилометра и, наконец, почувствовал под колесами упор. Демин снял с баранки левую руку, утер пот, смахнул грязные капли со лба и надбровий, поерзав, сменил положение затекшего тела, определился в пространстве и вдруг издал тоскливый воющий вой.

Он не понимал, откуда приступ звериной тоски, ведь худшее осталось позади, теперь он знал, что доедет, встретится с председателем и получит долгожданный мотор. Долговязая фигура на перекрестке?.. Старуха, которую он не подобрал... Да что ему эта старуха? Сколько их мается по обочинам жизни, на всех души не хватит. Но эту старуху надо было взять. Почему?.. Он даже не успел задуматься, ответ возник липким потом, выступившим под рубашкой. Старуха это была Т а л я...

Старуха... Они не виделись каких-нибудь три-четыре месяца. Нельзя состариться за такой короткий срок. Нельзя. Конечно, перемена совершалась исподволь, но он ничего не замечал, замороженный ее прежним образом. И когда они встречались, он успевал наделить сегодняшнюю, уже другую Талью ее минувшей, юной прелестью. А сейчас просто не успел, слишком неожиданной оказалась встреча, он был занят борьбой с дорогой и пропустил тот миг, когда свершалось вселение Тали в прежнюю оболочку, он увидел ее такой, какая она есть на самом деле. Господи боже мой, да в ней не осталось ничего, ровнешенько ничего от той далекой Тали, которую он любил в молодости и не переставал любить. А может он любить эту долговязую, худую, темнолицую старуху, что махала рукой с зажатой в крючковатых пальцах рублевкой? Ответа не было, в душе пустота...

А Талья узнала его?.. Скорее всего узнала, хотя он проскочил быстро и боковые стекла залеплены грязью. Что она подумала о его поступке? Какая теперь разница, — устало сказалось в нем...

...Председатель встретил Демина, как родного. Поехал с ним на склад и даже помог перетащить двигатель в кузов грузовика. С некоторым удивлением Демин обнаружил, что «руководитель» рассчитывает на угощение, будто старался не для своего колхоза, а для чужого дяди. Да нешто жалко, коли человек хороший?.. Но после истории с Жоркой Демин сильно сомневался, можно ли считать председателя хорошим человеком. Все-таки он повел его в ресторан «Лебедь», который в дневные часы превращался в простую столовку, поэтому водку здесь не подавали, ее приносили с собой и держали под столиками. Но коньяк имелся, и Демин взял бутылку, а в глубокую тарелку набрал некорыстной закуски: сало, колбасу, помидоры, пирожки с мясом. Он налил председателю полный граненый стакан, а себе плеснул на доньшко, чтобы чокнуться, за рулем не пил, хотя гаишного надзора в райцентре не было. Председатель знал его правило и не настаивал на равенстве. «Будь здо-

ров, не кашляй!» — пробормотал он, цокнул доньшком своего стакана по деминскому и жадно, духом, выпил.

Демин чувствовал, что председатель чем-то озабочен, но спрашивать не стал: захочет — сам скажет.

— Хорош моторчик я тебе выцарапал? — спросил председатель.

— Хорош! Недельки на две хватит.

— Болтай! Обязан тридцать две накатать.

— А восемь не хочешь?.. Нет, Афанасьич, пока дорог не будет, на технику не надейся.

— Опять за свое? Еще не надоело?

— Надоело. Потому и говорю.

— Ты же сам знаешь, дороги нам не приказаны. Мы должны дома дояркам строить.

— Зачем?

— Чтобы привязать их к этому благородному труду, — скучным голосом сказал председатель и наполнил стакан.

— Придуряешься, Афанасьич. Неужели наши старухи перестанут за дойки дергать, если ты их в хоромы не переселишь?

— Не о них речь. Прицел на молодежь. Будь!..

— Молодые в доярки не пойдут, хотя ты дворцы построй. Им манжюр жалко.

— Что правда, то правда, молодых доить не заставишь, — закусывая салом, согласился председатель.

— А Жорку ты зря обидел.

— Не зря. Пора уже понять, что дороги не наша забота... — и со вздохом добавил: — От них я не чешусь.

— От чего же ты чешешься?

Председатель внимательно посмотрел на Демина, навалился грудью на столешницу и заговорил торопливо, хриплым шепотом, глотая слова:

— Нюрка... бухгалтерша грозитя уйти. Неохота ей под суд... И очень даже свободно, если ревизия... Никто не защитит. Я не я, и хата не моя — закон игры...

Демин не понимал его возбуждения и тревоги. Напился он, что ли? Не такой мужик Афанасьич, чтобы окосеть с двух стаканов. Но не могла же его взволновать угроза Нюрки оставить свой пост. А председатель, дергая головой, словно вокруг вилась оса, сообщил, что Боголепов с автобазы, известный «доставала», собрался в Сочи лечить грязью радикулит.

Не понимая, почему председатель съехал на болезнь Боголепова, Демин счел нужным выразить одобрение услышанному.

— Пусть подлечится. Мужик хороший.

— Очень замечательный... Двигатель вот устроил. И задний мост для «ЗИЛа» обещал. Но как ты четыреста рублей спишешь, если Нюрка уйдет?.. Не знаешь, и я не знаю.

— Какие четыреста рублей?

— На культурный отдых. На юг с пустым карманом не ездят.

— Вон-на!.. — дошло наконец до тугодумного Демина. — Понятно... А ты погляди, Афанасьич, с другой стороны. У него же хозяйства нету. У нас-то и коровка, и овцы, и боровок на откорме, и огород. У тебя вовсе вишневый сад, как у Чехова.

— А чего я с него имею? На рынок не вожу.

— Твоя Марья варенье тазами варит. Настойки сколько четвертей закладываете. А он, сердешный, никаким баловством не пользуется.

— Слушай, пойдешь в бухгалтера? — ошарашил вопросом Афанасьич. — Или в председатели?... Завтра же соберу перевыборное. Мне ничего не сделают — ветеран войны и печень больная. Лечиться поеду. На свои.

— Не дури. — Демину впервые вспало, что не так-то просто будет найти охотника на место, занимаемое этим недалеким, бесполетным человеком, которого все заглазно костят и вроде бы справедливо. — Давай скинемся. Не обедняем.

Председатель глянул насмешливо.

— Колхозный карман трещит. А наш вовсе лопнет.

— Вон-на!.. Это, значит, завсегда?..

— А ты думал!.. За красивые глаза?.. Нам же вечно больше других надо, — со злостью, метящей в Демина, сипел председатель. — Моторы, кузова, задние мосты, хедеры, захеры...

— Да ведь план!..

— Вот где у меня этот план!.. По мне лучше лечь на дно. С отстающих какой спрос?.. — Афанасьич налил коньяка, выпил, кинул в рот кружок колбасы, сжевал и малость успокоился. — За коровий десант слышал?

— Какой еще десант?

— Конечно, об этом в газетах не пишут. И в телевизоре не показывают. Совхоз «Заря», знаешь, вечно в хвосте плетется, так их чуть не из соски поят. Коров французских выдали как отстающим по животноводству. Породы шароле. А у них силос подобрали, сенажа — ноль целых, хрен десятых, комбикормов и в помине нету. А трава и кормовая рожь полегши от дождей — машиной не возьмешь, косарей — днем с огнем...

— Выгнать на пастбище?..

— Ага. Там такие же умные. Попробовали выгнать. У двух коров передние ножки сразу — чик, напололам, пришлось стрелять. Вес-то агромадный, а ноги тоненькие, не по нашим почвам. И вот кто-то за десант сообразил. Нагнали технику военную: платформы, на которых пушки возят, погрузили коров и — в поле, в зеленую рожь. Все начальство туда съехалось, газетчики — большой антракцион.

— И чего дальше? — заинтересованно спросил Демин.

— Дальше?.. Скотина ревет, корма чует, а взять не может. Там все, что был, прямо с мозгов долой. Рвали рожь и в пасть коровам пихали.

— Не пойму... Чего же они не паслись?

Председатель не спеша налил, выпил, закусил пирожком.

— Французенки. Не умеют. К стойловому содержанию приучены. Понимаешь, которое уже поколение из кормушек жрет.

— Мать честная! — ахнул Демин. — Это как же они скотину испортили!

— Чего с них взять! Они лягушек едят.

— Не лепи горбатого, Афанасьич!

— Честное партийное слово, — серьезно и грустно сказал председатель. — Я сам не верил. А намедни своими ушами слышал: вывозим мы во Францию лягушек, зеленых, прудовых. А еще улиток и муравейники. Очень оживленная торговля.

— Постой, не части. Зачем же они лягушек едят?

— А чего им еще есть? Все подчистую подобрали. Они червей едят, улиток, рачков всяких. И лягушек. Это у них первый деликатес, как у нас вареная колбаса.

— А муравейники?.. Неужто их тоже жрут?

— За муравейники точно не скажу. Может, кислота нужна. Может, ревматизм лечат. Или леса поддерживают. Я лично не интересовался. Не знал, что ты спросишь.

— Как они только живут? — задумчиво, презрительно-жалеючи произнес Демин. — Ни лягушек, ни муравейников. Почему в России всегда все есть, а кругом пусто?

Председатель не ответил. Коньяк был допит, и председатель потерял интерес к разговору.

Прежде чем покинуть райцентр, друзья заглянули в универсам, куда как раз завезли подарочные наборы, включавшие духи, пудру, шоколад, баночку икры, копченую сосиску в целлофане, гаванскую сигару в латунном футляре. Взяли по набору.

Обратная дорога, не ставшая легче, оттого что в кузове ворочался автомобильный двигатель, целиком подчинила себе сознание Демина, но, когда вернулись, сгрузили мотор и расстались с председателем, он почувствовал сосущую тоску. В этой тоске был и рев голодных французских коров посреди полеглой ржи, и унылый бубнеж робкого, не справляющегося с делом человека. Но Демин знал дальней, дальней угадкой, что вся эта муть прикрывает главную печаль — встречу на перекрестке с долговязой темнолицей старухой.

Демин не поехал сразу за сеном, а подрулил к магазину, как раз закрывавшемуся на обеденный перерыв. Завмаг Люба впустила Демина и заперла за ним дверь. С удивлением и не без приятства Демин обнаружил здесь своих постояльцев: журналиста и Пал Палыча, они сидели в креслах гарнитура, каждый с коробкой пьяной вишни в руках. Вкуснейшие эти конфеты впервые достигли Дубасова, но не пользовались почему-то спросом, местные жители предпочитали карамельку. При его появлении крутые свежие скулы продавщицы Лизы жарко вспыхнули,

и Демина чуть отпустило. Хорошо, что он застал тут своих гостей, видимо, наскучивших постельным режимом, можно будет немного развлечь приезжих, которым так не повезло с погодой.

Подмигнув Любе, он взял две бутылки коньяка, пачку печенья, коробку с пьяной вишней и пригласил постояльцев в чуланчик на задах магазина, считавшийся кабинетом завмага. Москвичи охотно приняли приглашение. Люба внесла пай от лица работников прилавка: съезжившийся, но еще годный лимон, сахарный песок, несколько болгарских помидоров и свежую сайку. Компанию пополнила уборщица тетя Дуся, громадная, не старая, но рано поплывшая женщина. Пал Палыч окрестил ее Валькирией, и Демин, не зная, что это значит, стал так называть Дусю, а та — откликаться из робости перед Пал Палычем, которая сродни той, что испытываешь при виде незнакомого, ярко окрашенного и, наверное, ядовитого насекомого. Пал Палыч с его лезвистым лицом, верткостью, вездесущими руками и небрежно-самоуверенной речью тревожно заволакивал местных бесхитростных людей. И как-то сразу он стал хозяином за столом: командовал, кому куда сесть, разливал коньяк, распределял кружочки лимона и нехитрую снесь.

Женщины сняли халаты и оказались в одинаковых нарядных кофточках, заслуживших одобрение Пал Палыча. Он властно усадил рядом с собой Лизу, приткнул Любу к журналисту, а Демину предоставил ютиться у огнедышащего бока Валькирии-Дуси.

Журналист — человек усталый и пассивный, но сохранивший вкус к недоброму наблюдению жизни, уже понял, что сегодня будет чем поживиться. Пал Палыч явно клонул на красивую Лизу с жарко вспыхивающими крутыми скулами и, будучи в любви сторонником кавалерийского наскока, дал шпоры коню, бросил поводья и с занесенной саблей ринулся вперед. В самом порыве Пал Палыча не было ничего оригинального и, тем паче, привлекательного, но Лиза — женщина гранитного Демина, о чем немедленно догадался тяжелый, сонный рохля и что осталось скрытым от приметливых глаз его шустрого приятеля, и это обстоятельство дарило надежду...

— Стоило забираться в проклятую глушь, чтобы встретить такую женщину! — витийствовал Пал Палыч. — Предлагаю тост за Лизу. Нет, за ее скулы. Они горят, как светофоры. Только что значит красный цвет: нельзя или можно?

Лиза пламенела, Демин осторожно вздыхал, Люба пофыркивала: экий насмешник! Валькирия-Дуся усиленно жевала, приглушая в себе слух челюстной работой, всем было стыдно.

— Сегодня мы устроим бал! — объявил Пал Палыч, разливая коньяк по рюмкам. — Бал, переходящий в свадьбу. Покончено с холостяцкой жизнью. Вручаю ключ от своей свободы лучшей женщине Нечерноземья. Хозяин! — повернулся он к Демину. — Приготовишь молодожену боковушку, только подальше от тухлой рыбы!.. — и захохотал.



Демин не знал, что подобное бывает среди людей. Этот приезжий впервые видит женщину, отнюдь не девчонку, не вертихвостку, — вдову и мать, в той прекрасной, грустной поре, которую называют бабьим летом, — и что он себе позволяет! А ведь Лиза ни взглядом, ни жестом не поощрила его к такому поведению. Застенчивая, тихая... Гостеприимство и великодушие боролись в Демине с оскорбленным чувством. И опять ему казалось, что все это он уже видел: разнузданное ухажерство Пал Палыча, замешательство присутствующих; кажется, дальше происходило что-то совсем гадкое, но что он не мог вспомнить, как не мог прикрепить к месту и времени смутное воспоминание.

Журналист ждал. На его глазах Пал Палыч не раз попадал впросак, но из всех житейских передряг вышел, не отступив ни на волос от своей гнило-обаятельной сути, сочетавшей хваткость и наглость со стрекозиным легкомыслием. Его выживаемость впечатляла, но журналист долистывал книгу своей жизни и хотел, чтобы на последних страницах порок был наказан, а добродетель восторжествовала. Пока что Пал Палыч проигрывал лишь бои местного значения. Чистоплюйство, порядочность бессильны перед цинизмом. Хотелось верить, что Демин — воинствующий гуманист. Если Демин его стукнет, думал журналист, то прихлопнет, как муху. Он внимательно поглядел на Демина и понял: добрый богатырь. Такой и пальцем не тронет разыгравшегося мышинного жеребчика, слова не скажет; он поглядывает усадкой на Лизу и будто просит: потерпи, милая, черт с ним, с дураком... А хорошая пара — их хозяин и эта продавщица. Почему Демин на ней не женится?.. И тут у журналиста внезапно пропала охота к недоброму самоустранению. Не ради Пал Палыча, разумеется, а ради Лизы и Демина надо вмешаться. В любом застолье случаются мгновения дружного отвлечения от общей темы. Журналист дождался такого мгновения и шепнул Пал Палычу:

— Угомонитесь!.. Это подруга Демина.

— Как?! Почему не предупредили?.. Хорошенькая история!..

Пал Палыч скосил бледно-голубой глаз на Демина. Тот сидел над нетронутой рюмкой; загорело-каленное лицо с капельками пота на лбу, клетчатая рубашка растегнута на широченной, тоже загорелой, порошей седеющим волосом груди, пудовые кулаки отдыхают на столешнице. Воображение Пал Палыча разыгралось...

— Разгонную! — крикнул он, вскочив. — Пошутили, почесали языки, посмеялись — пора и за работу. Обеденный перерыв кончился. Мы-то бездельничаем, а Любушке и Лизаньке пора обслуживать покупателей, Дусеньке — наводить чистоту. Предлагаю тост: за культурную торговлю. И чтобы покупатель был взаимно вежлив с продавцом. Внешняя торговля — оплот мира, она соединяет народы и государства. Но миротворчеству, сближению людей служит всякая торговля, в том числе сельская...

Снаружи донесся сильный стук: нетерпеливые покупатели рвались в магазин.

Завмаг Люба двинула стулом, готовая к сближению с покупателями.

— Успокойтесь,— шепнул Пал Палычу журналист,— он не будет вас бить.

— За советскую торговлю! — провозгласил Пал Палыч, опрокинул рюмку в рот и выметнулся из-за стола.

... Слушай,— сказал Демин Лизе,— я приду сегодня.

— Боюсь, сын придет.

— Да что он — маленький, не знает?

— Знает, конечно,— вздохнула женщина.— Все знают... Может, другой раз?

— Смотри... — сказал Демин, отводя глаза, налитые тоской.

— Ты что? — спросила она озабоченно.— Неужели из-за этого таракана?.. — Она прыснула.— Господи, да по мне!..

— Нет,— сказал Демин.— При чем тут этот?..

Он не знал слов, чтобы сказать о том, что его томило. А слова были, простые, как трава, но не шли на ум.

— Так чего же ты?.. — допытывалась Лиза.

— Не знаю... Давай поженимся.

— Еще чего?.. — Ее яркие скулы побледнели.— Мой поезд ушел. Найди молодую. Тебе дитя нужно. Слушай... ладно, может, Колька и не придет...

...Лишь во второй половине дня, прихватив гостинцев для изнемогающих в заброшенном Пёрхове старух и забрав Жорку, Демин отправился за дальним сеном. Немного распогодилось, в небе появились синие промоины, и в них, будто истосковавшись по земле, лупило солнце. Шевельнулась надежда, что вопреки мрачным прогнозам метеослужбы и бушующему над Гималаями антициклону погода установится. Уж больно хотелось этому верить, ведь что ни год, то потоп, то засуха, и вообще не стало ровного, справедливого на дождь и ведро лета. Можно, впрямь, поверить старухам, что продырявило кровлю над землей, отчего не стало защиты от всякой вражды.

...К удивлению братьев, в покинутом Пёрхове занялась какая-то новая, странная жизнь, посторонняя тем древним местным насельникам, которые теплили свою свечу. Пёрхово давно уже отключили от электросети, сняли со снабжения продуктами и хлебом. Но деревня не померла. Тут обосновались, пусть временно, сезонно, пришлые из города

люди. Они населили покинутые избы, затопили печи, чего-то посадили в огородах, очистили их от сорняков, развешали белье на веревках. Не очень понятно было, как они добирались сюда, но добирались, и за это пользовались здешним чистым воздухом и здешней тишиной, добрым лесом, прозрачным мелководьем Лягвы, купались, ловили рыбу и раков; наверное, об них грелись и местные старухи, чего-то им перепало от пришельцев и, видать, не так уж бедно, коли дары Демина были приняты, хотя и благодарно, но без надрыва.

Эти перемены особенно удивляли старшего Демина: недели полтора назад, когда он косил тут, то не заметил какого-либо оживления, деревня покорно сползала в смерть. То ли городские еще не съехались, то ли в погожий день все были на речке, в лесу, то ли ему застило зрение. А Жорка выиграл и, склонный к радению о народной пользе, уже трудил свою больную голову, как надо было бы использовать Пёрхово. Объявить его дачной зоной и сдавать дома от колхоза, создать базу для грибников и ягодников и обратно брать за аренду, оборудовать привал для рыбаков и охотников, тоже, разумеется, не бесплатный, а все вырученные средства пустить на дорожное строительство. В одержимости Жорки было что-то пугающее...

Рассуждения брата и оживленный вид Пёрхова нарушили привычные грустные связи Демина с тем местом, где прошли его детство и юность, где он навсегда угадал Талию в стае веснушчатых, белобрых, голенастых девчонок и где навсегда же ее потерял. Но это длилось недолго, слабые приметы новой жизни и оживляющие пейзаж фигуры новоселов смазались, истаяли и Жоркины речи, он опять видел заросшую бурьяном, лопухами тихую сельскую улицу — в ее запустении была опрятность, — палисадники, лавочки, яблони, свешивающиеся через плетни — свой старый, нежный мир. Но возвращение прежнего Пёрхова вместо привычной сладкой тоски принесло острую, неудобную боль. Наверное, это связывалось с явлением Тали на дороге: как безнадежно изжилась образ, который он нес сквозь всю свою жизнь! И ведь так же — со стороны — износился и он сам, без толку истратив себя на ожидание, на дурную упрямую игру в надежду, не желая понять, что назад дороги нет, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Даже Пёрхово, затормозившее к исходу в последние годы, обнаружило животворные силы с появлением новых людей. Как же мог он так закоснеть, залениться омороченной душой, покорно выпуская из вялых пальцев время, которое не вернуть?..

Ему захотелось скорее к Лизе. Гонимый потоком, не дающим вглядеться в лик ускользающего бытия, лишь уцепившись за нее, как за прибрежный тальник, за ветвь плакучей ивы, сможет он остановиться, очнуться, а там и выбраться на прочный берег. Но между ним и Лизой было еще много непрожитого делового времени, необранного сена, недоезженных километров. И он покорно и мощно принял сваливать влажное сено в кузов грузовика...

А солнце, похоже, всерьез укрепилось в небе. Светило вовсю, лишь изредка задерживаясь скользящим облачком, и пока они работали, и пока отвозили сено, и пока Демин медленно, задом, подавал машину в узкий двор, и пока скидывали сено, и пока он отводил грузовик на машинный двор, а на пути назад, раздевшись до сатиновых трусов, омылся с мылом и мочалкой в холодной Лягве, — и тут поверилось, что это навсегда. Солнечное тепло хорошо растекалось по остывшему телу, неохота было одеваться. Какое же благо — великое и живительное — доброе летнее солнышко! Демину захотелось прочесть какие-нибудь стихи о солнце, в школе он их много учил. «Солнце зеленеет...», да нет, какого хрена ему зеленеть? «Травка зеленеет, солнышко блестит»... А дальше забыл. Как и все забыл, чему в детстве учился. Не помнит он стихов ни про солнце, ни про Евгения Онегина, ни про Анну Каренину. Надо достать «Родную речь» и все насквозь перечитать, а стихи выучить наизусть.

И чего он так взбодрился? Оттого что светит солнце? Или, смыв с тела грязь, пот и пыль, он заодно и с души смыл что-то дурное, липкое, что таскал не день и не год?

— Инженер! — послышалось с того берега. — Егорий мне наряд закрыл. Не возражаешь?

Там стоял знаменитый шабашник-печник Звягин, которого позвали складывать печи в домах для доярок. Звягин был знатный мастер, его печи сроду не дымили, не гнали угара, а тянули так, что чуть ли не утигивали поленья в дымоход.

— Закрыл, и ладно, — отозвался Демин, не понимая, зачем Звягин сообщает ему об этом.

— Забираю я Адольфа. Ты не возражаешь?

Вот что! Значит, стакнулся с ним зятек вопреки всем заверениям, эж же допекло его полусухим законом!

— Дай хоть с сеном кончить, — попросил Демин.

— Зашиваюсь я с печами, — хмуро сказал Звягин. — Кирпич весь битый, намаисси, пока цельный найдешь, а меня в Воропаевке ждут.

— Ладно. Незаменим Петрович. Зять не в крепости у меня. Уйдет так уйдет.

Звягин потащился навздым, оскальзываясь в грязи, а Демин сказал про себя, ему вслед: хрен ты его получишь. Буду ему тайком персональную бутылку ставить. А засыплемся — Верушка простит. Ей же лучше, чтоб Адольф под приглядом чумел. Экую власть забрал над человеком яд, заключенный в бутылке! Мысли Демина соскользнули на соседнее, не менее важное: рядом с главной открытой действительностью уверенно существует вторая, теневая, которую молчаливо условились не замечать, хотя она проникла во все поры. Жорка пятнадцать суток стрел за то, что пытался дорогу построить, а хабарщики цветут и пахнут. Не может государство за всем попевать, помнить о каждой пуговице для порток, сортирном крючке, деревенской стежке-дорожке или избыной печи. Значит, надо чего-то придумать, а не отдавать свою заботу на откуп

кому не след... Заключив свои невеселые мысли привычным нутряным звуком, Демин пошел домой.

Он надел чистое белье, рубашку, вельветовые брюки, кожаную куртку, натянул короткие резиновые сапожки, а на голову — большую «грузинскую» кепку, сделанную в Москве на заказ. В полиэтиленовый мешочек сунул парфюмерно-пищевой набор — Лиза не терпела дорогих подарков и принимала лишь знаки внимания, не имеющие большой денежной цены.

Семья собиралась вечерять, но Демин не стал терять времени, до Лизы было восемь километров грязи. Хорошо еще, что маленько подсохло, а то и к ночи не доползешь. Он, не присев, съел кусок студня, запив его кружкой парного молока, достал из заначки под кроватью бутылку кубанской и вручил ее скрытым образом зятю.

— Пока не кончим с сеном, не вяжись с Васькой Звягиным. Осталось ровно ничего. А нервы я тебе поддерживу.

Зять кивал, не глядя в глаза, но бутылку взял без колебаний, твердо и решительной рукой.

— Только не шуми, — попросил Демин. — Перед Верушкой стыдно. Можешь ты хоть раз тихо надраться?

— Ладно. Не гуди! — еще не выпив, но уже запальчиво отвел указания зятя.

Сильный шорох, будто горох за стенкой просыпали, отвлек Демина. Он прислушался, боясь поверить догадке, нехотя глянул на окно: опять пошел дождь. Не сильный, тонкий, надо выбрать угол зрения, чтобы разглядеть его нити, но такой может на сутки зарядить. Его не переждешь. Демин вздохнул и потянулся за дождевиком. Но тяжелый брезентовый, обметанный понизу засохлой грязью плащ грубо противоречил нарядному виду, и Демин повесил его на место.

— Хватит с тебя и болоньи, — сказал Демин дождю.

...Как быстро намокает окружающий мир. Будто не бывало долгой солнечной передышки, за несколько минут замесилась вновь рыжая грязь, вспухли, пошли пузырями лужи, нагрузили влагой растения и драгоценно, глянцево зазеленела давленная кожа громадных лопухов.

Сколько. Остановился. Выхватил кол из тына. Пошел дальше. Небо какое-то ровное, клочьями вниз свисает, по верхушкам деревьев метет. И видно, как стряхиваются с исчерна-серых косм капли. А затем происходит дождь в дожде. С белесой — солнышко маленько подсвечивает с исподу — глади высеивается дождевая пыль, а сквозь нее вдруг прорывается крупный косой дождь из сумрачных, низко свисающих туч. Обдало все, что есть на земле, отбарабанило по кожаным лопухам и стигнуло. С минуту-другую кажется, что дождь вовсе перестал, ан, нет, к мокрому лицу будто паутинка липнет — по-прежнему сочится бледная

высь. Новый охлест, на этот раз сзади, в спину, бросает вперед по скользоте.

И раз Демин не удержался на ногах, но сумел упасть не в грязь, а на травяную обочину. Раздалась лопухо-репейно-подорожниковая поросль, мягко приняла беспомощное тело. Подымаясь, схватился за волчег, раскровянил о колючки ладонь, по спине холодные струйки ползут — налило за ворот. Демин рассмеялся над своей дурацкой неудачей: Адольф так не кувырается, когда вдугаря пьяный домой ползет. Надо внимательней быть, больно ты горяч, брат Демин!..

Мать честная, во что превратились его фортовые брючки — до колен захлюстаны, а на заднице глиняный блин. Демин соскреб нашлапку, а штанины трогать не стал — все равно без пользы. Хорошо, что догадался забросить к Лизе пару джинсов, будет во что переодеться. И рубашка там у него есть — Лиза сама ему в магазине взяла. Надо бы забросить туда и другую амуницию: трусики, майки, носки, ботинки. Сейчас придется ему джинсы на голое тело надеть, чуваки мягкие тоже найдутся, а майку он Лизину натянет. Лиза не толстая, но крупная, ширококостая, на него ее майка влезет, только на груди будут торчать две шишечки — от ее сосков.

Он вспомнил теплоту ее груди, всего большого доброго тела, ласковых легких рук, вспомнил упор крепких скул и сладкую влагу рта, и от всех этих волнующих воспоминаний заторопился, сердяга, и запахал брюхом в грязь. Он и не заметил, как его скосило. Может, он убыстрял шаг, но ставил ноги твердо, не скользил, может, из земли торчало и за штанину зацепилось, может, травяная плеть сапог захлестнула.

А болонья от сильной мокроты не защищает, пустая вещь — для городских игрушечных условий. Он промок насквозь. Надо было дождевик напялить. Дофорсился, Демин, придешь свинья свиньей. Конечно, Лизаню этим не смутить, она его в любом виде примет, — на редкость преданный человек. А может, любящий?.. Демин усмехнулся. Ишь, чего захотел, старый пес. Рассластился. Тебя и молодого не полюбили, когда волос был густой и темный, и зубы все на месте, и кожа гладкая, и глаз веселый, а кому ты сейчас нужен, сушеная вобла? От одиночества, пустоты не гонит тебя вон вдовая женщина. Мужики-то нынешние — женатики, или пьянь, а ты свободный и трезвый, не за бутылкой тащишься.

И тут ему захотелось выпить. Не просто дернуть стакан, а по-культурному, с Лизой, в теплой избе, под селедочку и рассыпчатую вареную картошку. А после — чаю с медом надуться, грея руки о фарфоровую чашку и глядя, как плавно и повертливо движется Лиза по избе, чего-то готова на ночь, а потом слышать спиной, как она взбивает подушки в спальне, оправляет постель. И дожить до ночи с нею и освободиться от всего налипшего на душу за сегодняшний большой день, и чтобы навсегда сгинула темнотица старуха на росстани с поднятой, будто проклинаящей рукой, и живое страдание стало бы грустной памятью.

И опять мысль о Лизе обернулась нетерпением, а нетерпение — новым нырком в грязь. Демин не спешил подняться, он уже промок насквозь. Руки, выше часов — на левой, выше японской браслетки от сосудистого давления — на правой, провалились в грязь, и Демин спокойно опирался на них, чтобы сохранить полусидячее положение и рассчитать дальнейший путь. Нельзя ему сейчас думать о Лизе, а то он сроду не дойдет. Надо думать о чем-то успокаивающем, придающем шаг степенность. О ком же ему думать? О матери — стара, плоха, никакой тут не будет успокоенности, о брате Жорке — как загрел на пятнадцать суток за горячую свою честность? О племяннике — справный малый, да в армию идет, все равно жалко, о Жоркиной жене, о картинке писаной, обратно за брата переживаешь; о Верушке и ее благоверном думать — душу рвать, вот о двоюродном брате, о саратовском Сенечке, можно думать — у него все красиво — и в работе, и в быту. Решено: он будет думать о Сенечке, сколько хватит, а там, может, еще какая легкая мысль зацепится.

Демин отбросил руки мокрой травой и поднялся с земли. Дождь проредился, впереди за бугром открылась луковками и крестами церковь. Мать честная, огорчился Демин, шел-шел, а и двух километров не прошел, это когда же доберется он до Лизаветы? По левую руку зеленая луговина полого уходила к густому ивняку, скрывавшему узкую Лягву. Там паслась по конскому щавелю лошадь темной масти. Такой у них в колхозе не значилось. И тут Демин сообразил, что это Соловый, прозванный так за расцветку старый мерин. А потемнел — от дождя. Шальная мысль пришла ему в голову: прискакать к Лизе на коне. Конечно, по такой дороге не поскачешь, особенно без поводьев и седла, но и шагком доехать все лучше, чем вот так — окарачь.

Демин пошел через луг, ставший топким болотом, вода заливала в короткие сапожки, но это уже не имело значения. Пощипывая траву, равнодушный к текущему его дождю, Соловый медленно удалялся к реке. Демин позвал его, но тот и ухом не повел. Казалось бы, в сиротливой своей неприютности он должен был откликнуться человеческому голосу, но старому мерину надоели люди. Он знал, что от них не может быть ничего, кроме доуки. Когда Демин положил ему ладонь на шею, Соловый не отозвался даже вздрогом кожи, не повел глазом, залепленным мокрой челкой. Приговаривая что-то ласковое, Демин соображал, как бы на него взобраться. В детстве Демин был лихим наездником, не боялся даже злых, закидистых кобыл, но с той далекой поры и близко не подходил к лошади. Чтобы сестра на неоседланную лошадь, надо упасть на нее животом и, держась за холку, перекинуть через круп ногу. Он так и хотел сделать, да, видимо, недопрыгнул и сполз назад. Изловчившись, он подпрыгнул как мог высоко, упал брюхом на скользкую спину Солового, но перекинуть ногу не сумел. Забылся молодой навык, ногам его ловко с педалями машины, не с телом животного. Соловый отказывался ему помочь. Он вскинул голову, всхрапнул, затрусил боком,

прогнулся, рванул вперед, и Демин оказался на земле. Соловый сразу стал и, не оглянувшись на поверженного человека, принялся пощипывать траву.

Было не больно, а обидно. Что стоить этой кормленной скотине оказать снисхождение путнику? Какие особые труды несет мерин в колхозе? Ну, воду возит, обед в поле, только и делов. Экая нелюбезная скотина!.. Переупрямить Солового не удалось, — когда Демин в очередной раз направился к нему, мерин не спеша повернулся и кинул в него задними ногами.

— Ну, и черт с тобой! — обиделся Демин и побрел через луг к дороге...

...Дальше все было не по правде. Ведь когда зарядит такой вот обложной дождь, он может быть сильнее или слабее, может тихо сеяться и хлестом бить, может обратиться в мельчайшую водяную пыль или кропить землю тяжелыми гулкими каплями, но чтобы сквозь него прорывался грозовой ливень, такого сроду не бывало. А вот случилось. Тугой ветер натянул пространство, уперся в грудь Демину, оборвав его шаг, дождь понесся над землей, будто лег на ветер и вдруг исчез. Ветер ушел ввысь, разорвал и разметал серую наволочь, обнажилась грифельно-белесая рыхлость, в которой ворочались не обретавшие форму громозды, оттуда вырвался разящий блеск, задержавшись точками слепоты в зрачках, гром и ливень рухнули одновременно.

Ослепленный, оглушенный, сбитый с толку, Демин пришел в себя меж мраморных надгробий, гранитных плит и металлических оград старого церковного кладбища. Над кладбищем смыкались кроны высоченных вязов, задерживая ливень. Демин вытер лицо носовым платком, проморгался. Перед ним был старый гранитный голбец с золоченой, почти осыпавшейся надписью: «Драгоценному супругу — безутешная вдова». Вон как — драгоценному!.. От безутешной!.. Надпись была с буквой ять. Давно истлели в земле гробы и заключенная в них плоть, а память о далекой супружеской любви жива и поныне. Ах, как хорошо оставить по себе безутешную вдову! Демин представил себе черный вдовий плотный повязанный платок, из траурной рамы с тихой скорбью глядят теплые карие глаза, и одинокая слеза вычерчивает дорожку по крутой скуле. До чего легко и удобно вместились Лиза в примечанный образ!..

Демин заметил свет, пробивающийся из церковных дверей. Шла служба, очевидно, поздняя обедня. Демин не больно разбирался в обрядах, в церковь он ни ногой. Не только потому, что был членом партии. Разве не бывает таких — с партийным билетом в кармане, что и детей крестят, и покойников отпевают, и куличи святят, а схваченные за руку, трусливо брусят, что в бога на иконах не верят, но допускают что-то такое — высшее. Демин не успел поверить в бога в раннем детстве, а вся последующая жизнь с войной, голодом, разрухой, трудом и усталостью, личными неудачами не могла убедить его в противном. Демин был знаком с батюшкой, недавно заменившим совсем одряхлевшего благочин-



ного. Он наивно спрашивал у Демина разрешение на заказ Федосеичу какой-нибудь выюшки или дверного засова. Опираясь внутренне на свое знакомство с попом, Демин счел удобным зайти в церковь погреться.

Шла служба. Демин следил за уверенными и хоть неторопливыми, но слишком деловыми движениями батюшки, человека лет сорока, с худым скуластым лицом, слушал его теноровый, жестковатый голос и удивлялся: нормальный мужик, небось, в армии отслужил, почему же выбрал окольную тропу, идущую мимо всего, чем дышит страна, а ведь мог бы и в сельском хозяйстве работать, и в школе преподавать. У него семья есть, дочка с сыном — школьники, еще не успел их с прежнего места перевезти, поди, ребятишкам не больно ловко, что их отец — долгоривый.

Подсобляли священнику две черные легконогие старухи из церковной десятки. Еще шесть-семь старух истово молились и клали поклоны. Не густо. Да кто потащится по такой погоде в церковь? Мать, впрочем, говорила, что и в любое время тут пусто. Как только держится приход при такой слабой посещаемости храма?.. Набрав в грудь медово-восковистого духа, Демин двинулся в глубь храма, где было теплее, но тут окончилась служба.

Разоблачившийся в ризнице, стройный и тонкий в черном стихаре, священник подошел к Демину поздороваться. Не желая быть заподозренным в религиозном усердии, Демин поспешил сообщить, что пробирается в Усково, а в храме укрылся от ливня.

Чуть приметная улыбка тронула бледные губы.

— Лишь важная цель может погнать человека за порог в такую непогоду.

— Куда уж важнее!.. — пробормотал Демин, которому показалось, что поп видит его насквозь.

— Вы не обижены за вашего постояльца? — голос звучал вкрадчиво.

Демин не понял.

— Явился некий муж, видом странен и непригляден, взором непокоен и быстр, — деланно-шутливый тон прикрывал тревогу. — Сообщил о гостеприимстве, оказанном ему вами, и поинтересовался иконами.

— Вон-на!.. — только и сказал Демин.

— По его мнению, в домах у местных жителей завалялись черные доски, и он просил меня стать его э м и с с а р о м по спасению еще не расхищенных художественных ценностей.

Надо же, никак не угомонятся, разбойники! Все лезут, лезут, и грязь, и бездорожье им нипочем... Сколько же скопила русская деревня, если до сих пор к ней тянутся жадные, загребушие лапы?..

— Он полагал, — все неуверенней продолжал поп, — что в церковных запасниках есть лишние, по его выражению, предметы.

— Вы хорошо турнули его, батюшка? — с надеждой спросил Демин.

Улыбка облегчения тронула тонкие бледные губы.

— Памятуя, что Христос изгнал мытарей из храма, я вежливо, но решительно указал ему на дверь.

— Вот и славно! — Демин понял, наконец, что беспокоило священника. — Обогрелся. Спасибо. Мне пора.

— Возьмите фонарик, — и — предупреждая отказ: — У меня этого добра, как в магазине.

Демин сунул фонарик в карман и протянул руку.

— Семью привезешь — транспорт завсегда. Только скажи загодя, — доверчивым «ты» Демин как бы скрепил временный союз светской и церковной власти против шустрого браконьера...

Фонарик был с динамкой, давно уже такие не попадались Демину; он нажал на рычажок и выдавил бледное пятно света. В церковном дворе было темно от деревьев и высокой каменной ограды, а небо еще не налилось ночью — дымно-палевое от закатившегося, но еще творящего свет солнца.

Ливень кончился. Изредка по лопухам гулкали полнослитые капли, то ли стряхивались с деревьев, то ли опроставшиеся тучи, отжимали остатную влагу. От земли тянуло легким курум. Надгробия призрачно выступали из замешанного туманом сумрака. Фонарик света не прибавлял, ему нужна чистая ночная темнота. Демин шел осторожно: опробовать землю впереди себя было нечем — кол где-то потерялся. Тепло, которым он не успел как следует пропитаться, покидало его знобкой дрожью. Выйдя за ограду, он не столько увидел с бугра, сколько почувствовал большое неирюкное пространство, отделявшее его от Лизы. Он как будто сначала начинал свой путь...

...Время приближалось к полуночи, когда задремавшая в кухне Лиза услышала скрип нарочно не запертой входной двери и шаркающие шаги в темных сенях. Спросонок она не сразу сообразила, кто это может быть. Потом к ней вернулась память: она ждала Демина, обещавшего прийти, но дождалась сына — пэтэушника, учившегося в райцентре. Он предупреждал, что может явиться в субботу, если у них отменят вечер самостоятельности. Она сказала Демину, но тот не поверил, настоял на своем. Жизнь, как всегда, распорядилась по-дурному. Если б Демин не собирался к ней, сын приехал бы в воскресенье, если б вообще приехал, — путь из райцентра по плохую погоду не больно заманчив. Но все же куда лучше, чем из Дубасова, особенно с того края деревни, где живет Демин. Каково ему тащиться сюда по грязи и дождю и получить от ворот поворот! Мужик замотан хуже некуда, как еще хватает сил думать о любви. Всю жизнь один, вот и не успел истратиться... Но Демина все не было. Они поужинали, сын куда-то выходил и скоро вернулся, молчаливый, злой, выпил бутылку воды «Байкал», лег спать. Она осталась в кухне. Лиза знала обязательный характер Демина и не сомневалась, что он придет. Она вздрагивала при каждом хлесте дождя в оконное стекло, представляя, каково сейчас путнику на дороге. Потом разразилась гроза с обломным ливнем и молниями, вблескивающими одна

в другую, и Лиза взмолилась, чтобы Демин не шел к ней, чтобы он загодя раздумал идти. Она почти убедила себя в том, что он оказался человеком предусмотрительным и не высунулся из дома. Но все-таки осталась в кухне и задремала, положив руки на кухонный стол, а голову — на руки. Она не заметила, как уснула, и не знала, что спит, потому что ей ничего не снилось. А потом — скрип двери, тяжелые шаги, и вот он стоит перед ней, слышно дыша, мокрый, грязный, заляпанный с ног до головы глиной, с рассеченной губой и подбитым глазом.

— Миня!.. Да что же это с тобой?..

— С мостков свалился, — хрипло ответил Демин. Он прочистил горло и, отвернувшись, сплюнул за порог. Затем вынул что-то из-под болоньи. — Держи.

Она не любила подарков, но сейчас взяла не споря и положила на подоконник.

— Жалкий ты мой, — сказала женщина. — Нельзя ко мне. Сын приехал.

— Давно? — бессмысленно спросил Демин.

Странно, но в глубине души он знал, что так и не достигнет Лизы. Он все время ждал той последней помехи, которая оборвет ему путь. Выбор был большой: неудачное падение, удар копытом в лоб, молния, гнилые мостки. Последние едва не сработали, бросив его лицом на комель вставшего торчком бревна, но судьба рассудила иначе — разминуться с Лизой у самого ее сердца. Быстро перекатился через память весь проделанный путь, он поймал готовый сорваться взвой и словно проглотил его. Больно оцарапало гортань.

— Какая теперь разница? — услышал он и догадался, что спрашивал о чем-то сто лет назад. — Завтра к вечеру уедет.

Понятно, речь шла о сыне, Демин не хотел, чтобы Лиза переживала. Никакой вины на ней нет. Это жизнь всех виноватит без смысла и разбора.

— Путем. Тогда и забегу, — сказал он, зная, что завтрашний день не оставит ему ни времени, ни сил.

Она тоже это знала и не хотела, чтобы Демин выглядел обманщиком:

— Чего загадывать? Там видно будет.

— Ну, я пошел, — сказал Демин.

— Погоди.

Лиза намочила полотенце под рукомойником и протерла ему лицо.

— Йодом прижечь?

— Не люблю — щиплет. На мне, как на собаке, заживает. Бывай.

— Постой! — она сунулась к буфету, достала коробку, завернутую в целлофан, протянула Демину. — Сегодня завезли.

Он взял коробку и рукой мгновенно угадал подарочный набор: духи, пудра, шоколад, баночка икры, копченая сосиска и гаванская сигара.

Все правильно, за этим он и шел. Он хотел коснуться Лизы — благодарно, прощально, печально, но побоялся испачкать ее. Ладно, обойдемся.

Зажужжал в руке фонарик с динамкой. Он шел, ступая в бледное пятно света. Все сущее вмещалось в этот маленький круг: он сам, клочок грязной земли и влажная яркая мурава, больше не было ничего: тьма. Пойдет ли он еще к Лизе? Не в том дело, что сын приехал. Сегодня сын, завтра племянница, послезавтра бывшая свекровь, а там постирушка затеется или еще чего. Он не вмещается в Лизино время, он — постоянный. И она не хочет, чтобы он стал ей другим. Нет у нее для него душевного места, оно занято сыном, родней, памятью о прежней жизни, разными заботами, и ничего менять она не хочет. А места в ее постели, когда она удосужится пустить, теперь ему почему-то мало. Демин еще не знал, больше ли это открытие — не беден на них оказался сегодняшний день! — хочет ли быть всегда с Лизой?.. Ответа он не знал. Знал только, что нельзя больше одному...

## САУНА И ЗАЙЧИК

Это случилось, когда мы еще не проснулись, но сон уже не был ни сладок, ни покоен, ни прочен, и в предутреннюю явь стучалась тревога нелегкого пробуждения. Мы должны были проснуться, потому что заснул он — государственный деятель, не совершивший никакого деяния, четырежды Герой без подвига, увенчанный лаврами писатель, не написавший ни строчки, грандиозное нечто, которого играли окружающие, как на сцене играют короля, создавая мнимое величие поклонами, подобо-бстрастием, лестью, неустанными знаками благоговейного внимания, покорностью и бесконечным превознесением до небес.

И его не стало, того, кто, завалив добром собственную семью, позволял хапать и другим, допуская всеобщее разложение. Но когда его не стало, то поняли, что дальше так продолжаться не может, что сама воля к жизни требует перемен. Но многие не знали, что это будут за перемены, мучительно боялись их и хотели лишь одного: дожить вместе с детьми своими и внуками в том мире, где время остановилось. Пусть оно двигается, но где-то там, вдалеке от их больших теплых квартир, уютных кабинетов, комфортабельных санаториев, огромных черных машин с двусмысленными занавесочками. Дальше никто не хотел заглядывать; как-то все образуется, что-то такое произойдет, но не затронув ни их самих, ни родной плоти и крови, безопасно проскользнет мимо. Никто этого не формулировал, есть вещи, которые нельзя даже про себя облекать в слова, ибо слово, как известно, не воробей, и самое важное, сокровенное должно находиться в тебе в аморфном виде, тогда ты не проговоришься, разве что промчишься, а в собственном тайнознании для тебя все расшифровано и названо без помощи слов.

Наш скромный антигерой Сергей Максимович жил в эти дни, как и подавляющее большинство людей его положения, со стесненным сердцем. Он не был какой-то знаменитостью, деятелем исторического масштаба, но в своем районе он был первым. Не вторым, не третьим, а именно Первым. И это налагало. Да нет, если по-серьезному, то ничего не налагало. Мы люди подневольные, как скажут, так и сделаем. Начальство укажет. Мы люди маленькие, наше дело исполнять, а не думать. То есть если по-серьезному, то и этого от нас не требуется. От нас требуется, чтобы все выглядело так, будто мы исполняем, выполняем и перевыполняем. А это не так уж сложно. За многие годы научились. Вещественность давно уже не в цене, все дело в бумажках, в них должен быть полный порядок. Вся жизнь стала на бумаге, а какая она на самом деле, — никого не интересует. Да и есть ли она на самом деле — сказать затруднительно. Во всяком случае, он твердо знает, что в тех бумажках, которые идут к нему снизу, правды не густо, а в тех, которые подаются на самый верх, и слабого следа нет. А вдруг теперь захотят, чтобы в бумажках была правда? От одной мысли об этом отнимались руки и ноги. Тот, кто ушел, ни в какой правде не нуждался, а своя правда была при нем, тут все всамделишное: кожаное нутро заграничных автомобилей, четыре Золотые Звезды и еще сто сорок шесть наград, неисчерпаемая бочка зернистой икры, весь золото-алмазно-жемужно-меховой нажиток. Остальное его не касалось. Он никого не трогал, позволяя одним обогащаться, другим спиваться. Покладистый человек. Но его не стало. Пришел другой. Серьезный и всезнающий, вот что худо. В воздухе появилось что-то такое... ознобляющее. Видать, оттого и сообщение о приезде важного московского лица напугало куда больше обычного. Даже сравнивать нечего. Ведь встреча Высокого гостя была настолько разработана, что, будь на месте Сергея Максимовича другой человек, он относился бы к ней, как к маленькому развлечению. Но Сергей Максимович и вообще не был боек, а перед большим начальством благоговел до судорог. И ведь не заносился Высокий гость, не корчил из себя бог весть что, наоборот, показывал, что он человек и ничто человеческое ему не чуждо, но Сергей Максимович всегда помнил, что тому довольно пальцем шевельнуть, и он из Первого станет последним. Это так глубоко засело в печенках, что он не мог проглянуть земную сущность Приезжего, видел его в какой-то дымке, в просквозном нездешним солнцем тумане. Но в наружном поведении Сергея Максимовича не было подобострастия, чего и не всякий любит, лишь деловая несуетливая услужливость, сочетающая исконное русское гостеприимство с воинской субординацией, будто видел он в Приезжем отца-командира. Это особенно нравилось Высокому гостю, поскольку он в армии никогда не служил, а кроме того, такое отношение было внеличностным, оно относилось не к лицу, а к месту, им занимаемому, и тем поддерживало существующую систему ценностей.

И вот Высокий гость снова едет в райцентр, в маленький, очень старый, даже древний городок, который во тьме истории числил за собой заслуги перед русской землей: посылал рать на поле Куликово, поддерживал московского князя в шемакинскую смуту, отбивался от набегов крымских татар, в остальное время торговал, ремесленничал, горел, отстраивался и раз удостоился посещения Петра I, открывшего под его суглинком целебный источник, а потом навсегда успокоился в звании уездного города и таким же остался, став райцентром. Примечателен он был тем, что его чаще всех других городов области навещали на предмет ревизии высокие гости из Москвы. Это объяснялось тем, что городок находился недалеко от столицы, вело к нему неразбитое шоссе, был он приветливый и опрятный, в окрестностях водились зайцы и лисы, а при райисполкоме имелась превосходно оборудованная сауна, которой местные руководители почти не пользовались.

И когда Первый объявил своим соратникам в форме привычной шутки: «К нам едет ревизор!», особого волнения, тем паче тревоги, его сообщение не вызвало. Даже не спросили, зачем он едет. Впрочем, и так было ясно: об эту пору едут с одним — проверить, как подготовились к зимовке скота.

— Что будем делать? — спросил Первый.

— То же, что и всегда, — прозвучал ответ. — Встретим, как положено дорожного гостя. Раскочегарим сауну на шесть шаров, а потом — на зайчика...

— Да погодите вы с зайчиком! — оборвал Первый. — Как у нас с кормами?.. Что мы ему покажем?.. Сами ведь знаете...

Собравшиеся слегка оторопели. А разве было когда лучше с кормами? Хуже бывало, а лучше сроду не было. И ничего, всегда с честью выходили... Свезем все корма в «Рассвет» и покажем.

— А если он еще куда сунется?

— Что с тобой, Сергей Максимыч, ты, видать, переустал. Куда он сунется? Нечто проедешь?.. В «Зарю новой жизни» еще можно — на листе железа трактором дотащить, а в остальные — жди зимника.

— На листе железа он не проедет. Да и нет такого листа — под лизин. Глупостями мне голову не забивайте. А продумать надо...

— Обратно, Сергей Максимыч, зря сердечко тратишь: как всегда принимали, так и сейчас примем. Сауна со всем, что полагается...

— А есть у нас «что полагается»?

— Как не быть? Область поможет, если что. Набольший, поди, тоже пожалует?

— Нет. Едут к нам напрямик.

Тут собравшиеся озадачились.

— Напрямик?.. Это что-то новое!..

— А я о чем толкую? — затосковал Первый. — Мы-то с вами старые, а там новое... Ветер перемен. В том-то и завычка!..

— Никакой закавыки нет. Пусть там новое-разновое, нашу Лерку не перешибить. Кто еще так ублажит?

Сергей Максимович вспомнил свежие икры, ямочки на локтях, чуть сонные серо-голубые с поволокой глаза и понял, что возле Лерки-сауницы стихнет ветер любых перемен. Да и какие могут быть перемены, только тронь — все завалится. И все же дело не так просто: изменить ничего нельзя, но дров наломать можно...

Конечно, ни «Путь к коммунизму», ни «Заря новой жизни», ни «Имени XIV партконференции» не хотели отдавать корма, несмотря на угрозы и заверения, что все до последней соломинки будет возвращено, как только отбудет Высокий гость. Каждый год одна и та же канитель. Пришлось пообещать директору «Зари» путевку в сочинский санаторий, директору «Пути» — покрывши для «Волги», директору «Имени XIV партконференции» — ордер на дамские сапожки фирмы «Пеликан». За сутки корма перевезли на платформах, которые тащили армейские вездеходы. Рев стоял такой, будто танковая армия шла в наступление. И впервые Сергей Максимович придумался над тем, что все это происходит в открытую, на глазах тысяч людей, и ни для кого не секрет, для чего производится операция. Неужели никто не толкнет донос? Но ведь это повторяется каждый год, и шороха до сих пор не наблюдалось. А доносы, конечно, были, их писали в первую очередь директора «обиженных» совхозов, анонимные, разумеется. Они ровным счетом ничего не теряли от временной разлуки с сеном, но им обидно было, что «Рассвет» всегда на виду, хотя он ничуть не лучше. А что тут поделаешь — начальство приезжает или осенью или ранней весной, когда развешаются хляби небесные, зимой и летом тут делать нечего, только работе мешать. «Рассвету» повезло — он подгородный, к нему ведет булыжная шоссейка. Да нешто одни директора пишут доносы? Все, обиженные жизнью, — а разве есть необиженный? — строчат «заявления». Вот какое деликатное слово придумали для иудиною греха! Выходит, наверху обо всем сведомы и... молчат. Что же получается: мы, на местах, все знаем, в области знают, в центре тоже знают, кого же мы обманываем? Тех, что за бугром? Но послушать голоса, там нашу жизнь насквозь видят. Выходит, самого главного, ему баки забиваем, чтобы он отдыхал спокойно и нам дышать давал.

Но если так, то можно куда проще и вольготнее жить. Для чего столько дергания, звонков, совещаний, заседаний, собраний, пленумов, вызовов на ковер, для чего мучить людей, если все сводится к цифровому хитросплетению? И зачем тревожит себя Высокий гость и тащит за две сотни километров от московских исключительных удобств и горячо любимой семьи по плохим, разбитым дорогам свое большое, рыхлое, забалованное тело? Лишь для того, чтобы глянуть на свезенное со всего района под одну крышу гниловатое сено? А чего на него глядеть: сено оно сено и есть. А может, нужно ему попариться в сауне, выпить стопку из Леркиных рук, постоять на зайчика? Нужна усталому изолгавшемуся

человеку такая разрядка с потным паром, золотым коньячком, ленивым оскользом сонных серо-голубых глаз и селитряной вонью пороха в свежести подмороженного утра? Тогда не о чем беспокоиться, все будет, как всегда.

Так чего же он тревожится, почему не может разделить безмятежности окружающих? Он и прежде, ожидая Высокого гостя, волновался, но приятным, подъемным волнением гостеприимного хозяина, желающего показать свой дом с лучшей стороны. К этому примешивалось проникающее чувство значительности события. Но не было ни гнетущего страха, ни отчуждающей тревоги. Было сознание, что делается одно большое общее дело — пусть на разных этажах, — это дарило надежным ощущением общности... нет, дурное слово, — союзничества, непоколебимой крепости всего здания. А сейчас — неуверенность, опаска, сосущая тоска в груди...

Но чувства чувствами, а дело делом. Как говорил поэт Махиня, вдруг выметнувшийся из донецких недр и столь же внезапно канувший в небытие, оставив по себе нескольких разочарованных диссертантов, огни эмоций любо зажигать вечернею порою, когда отходят дневные заботы. И Сергей Максимович, оставив для переживаний вечер и ночь, днем развил энергичную деятельность. Сам съездил в областной центр и привез ящик армянского коньяка, зернистую икру, красную рыбу, лимоны и растворимый кофе. Закрома «Рассвета» плотно и опрятно заполнили кормовым зерном, сеном, сенажем, отрубями, на фермах прибралось, залатали крышу, сменили подстилку.

В назначенный день машина Высокого гостя зашуршала шипованными шинами по мокрому асфальту райцентра. Деревья уже облетели, и город стоял сквозной, голый, неприятный. Зелень очень скрашивала его плюгавость. Да ведь не красна изба углами, а красна пирогами. К тому же Высокий гость так и не поднял занавесочек на окнах.

Встреча у дверей райкома была лишена обычной грубоватой сердечности. Обширное, клеклое лицо приезжего с медвежьими глазками хранило брюзгливо-усталое выражение, в котором растворилось намерение улыбки. Он даже поспешил на те задиристые шуточки, которые неизменно отпускал, обмениваясь рукопожатиями с встречавшими. Молча посовал каждому большую вялую руку и хмуро бросил: поехали, что ли?..

В совхозе все было вроде бы по-обычному, только суше, холоднее. Высокий гость не тыкал пальцем в живот директора, не стравливал его с Первым — любил он такие петушинные сшибки — все только по делу. Наверное, теперь такой стиль руководства: деловитость, — смекал Первый. Но это внешняя форма, а что за ней? Какие перемены, может, полный поворот?.. Куда?.. Стоит ли мозги ломать мне, козявке, мурашу. Как скажут, так и будет, — на словах. А если?..

Пробыли они в совхозе без малого четыре часа, хотя дело тянуло от силы минут на сорок. Но в этот раз Высокий гость был на редкость до-



тошен, хотел все сам увидеть, все потрогать руками. Он, видимо, давал урок ответственности и деловитости. Входил в каждую малость, подробно и пристрастно расспрашивал директора о всех хозяйственных проблемах, не касаясь, правда, самого тонкого вопроса: откуда взялось столько сена и других кормов, когда сеноуборочная провалилась по всей средней России из-за непрерывных ливневых дождей? А вдруг он думает, что совхоз сам себя обеспечил? — вновь испугался Первый. Тогда мы преступники. Только если круговой обман, тогда это не преступление, а политика...

В райком они вернулись уже в сумерках. Над хозяйственным флигельком, где помещалась и сауна, струился прозрачный сиреневый дымок. Лерка была на посту, и Первый от души порадовался близкому удольствию другого человека.

— Теперь куда поедем, в «Зарю» или в «Путь»? — резанул по нервам хмурый голос.

Вот оно! Забыл, как сунулся и полдня загорал в луже.

— О чем думаешь?

— Думаю, как лист достать.

— Какой еще лист?

— Железный.

— А так не проедем?

— Сами знаете, какие у нас дороги. Лучше не стали.

— Довел же ты район, нечего сказать! А как вы сами связь держите?

— По телефону. На лошадках. Пешим строим. Или вот на листе.

— Так запустить район!... — с горечью сказал Высокий гость.

— Шестьдесят четыре.

— Что шестьдесят четыре?

— Шестьдесят четыре раза обращались в разные инстанции. Вам тоже писали, — застенчиво добавил Первый.

— Писали! Отписочками живете. Надо уметь добиваться, надо гореть. О чем думаешь?

Первый думал о том, как бы за ночь перевезти хотя бы часть сена в «Зарю». За два других совхоза он был спокоен, туда ни за какие коврижки не добираться.

— Думаю, надо, кровь с носа, раздобыть лист, чтоб завтра утречком выехать. Тогда к обеду будем.

— Как это к обеду? У меня в три совещание.

Первый развел руками и опечалился.

— Скажи мне честно: плохо с кормами? Не подготовились?

— Зачем уж так? — за четверть века руководящей работы Первый не научился врать в глаза. «Недотепушка!» — ласково корила его жена, знавшая эту странную и трогательную особенность мужа. Легко вралось с трибуны в аморфное лицо аудитории и в письменном виде. Он вынул из планшета тонкий машинописный лист с цифрами.

Высокий гость чуть брезгливо, но вроде бы охотно взял письма, пробежал первую страницу и, сложив, сунул во внутренний карман пиджака.

— Ладно. Посмотрим, что вы насочиняли. Но учти. Я ведь знаю, какие вы мастера ажур наводить... Кормить будете?

— Неужто мы не покормим дорогого гостя? — оживился Первый. — Но сперва пожалуйста в сауну.

Было долгое молчание, затем странным, каким-то болезненным голосом Высокий гость произнес:

— В сауну?.. С коньячишком?.. С официанткой?..

— Как водится, — пробормотал Первый.

— Неужели сам не понимаешь, в какое время мы живем? Сауна!.. — в голосе звучали горечь и укор. — Сейчас нельзя расслабляться, надо быть, как штык. Разложились мы все, к сладкой жизни привыкли. Забыли о наших отцах, босоногих большевиках. Разве думали они о саунах? Даже слова такого не знали.

— Нешто тогда люди не парились?

— Мокрым паром.

— Чего? — не понял Первый.

— Мокрым, а не сухим паром, — пояснил Высокий гость. — В общем, все ясно. Развратились, изнежились, избаловались, но теперь с этим будет покончено. Навсегда.

Значит, и со мной будет покончено, подумал Первый. Я ведь не умею иначе и уже не научусь. Стар я, ссохся, спекся снаружи и внутри. Меня уже никаким паром не размягчишь: ни мокрым, ни сухим. Ладно, буду собачьи шапки шить. Как-нибудь доживу. И ни на что не рассчитывая, не надеясь, просто для разговора, чтоб не молчать, сказал:

— Значит, и на зайчика не сходите?

— Какой еще зайчик? Охота запрещена.

Она и сроду была запрещена в эту пору. Да не больно ты с запретом считался. Колошматил их, как хотел. Первый обмер, ему показалось, будто он вслух произнес эти слова. Нет, вслух он сказал другое:

— Зайцы, видать, это знают и обнаглели страсть! Жируют чуть не на улицах. И такие здоровенные! Где только отожрались?

Первый также, с удивлением глядя на приезжего. Его большое мясистое нездоровобледное лицо медленно затекало густой кровью. И белки несколько покраснели. Высокий гость видел внутренним взором четкий опущенный деликатный заячий след, слышал запах подтаивающего утренняя... Только что он чувствовал себя одним из комиссаров гражданской, продотрядовцем, гибнущим от кулацкой пули, забвенным Ключковым-Диевым, крикнувшим свое бессмертное: «Земли за нами много, а отступать некуда!» Как звучат сейчас эти слова! Он встал с ними в ряд, раздавив свое желание: не будет ни блаженства сухого жара, выгоняющего из тела все шлаки, ни восхитительного оката холодной водой, отчего сразу скидываешь десяток лет, ни золотистой рюмки

в обнаженной по плечо нежной руке, и навсегда погасли серо-голубые с поволокой. Но всему есть предел.

— О сауне забудь,— услышал Первый хриплый просевший голос.— Завтра выйдем пораньше. Зайчишку надо наказать.

## НОЧНОЙ ДЕЖУРНЫЙ

Это случилось за год до того, как у винных магазинов завились змеиными кольцами бесконечные очереди, в парфюмерных магазинах пропали тройной одеколон и лосьон, резко подскочила продажа сахара, и трезвость стала нормой нашей жизни.

Я отдыхал тогда под Москвой в доме отдыха санаторного типа. От санатория в этом огромном и шумном караван-сарае была тучная счетоводша, якобы освоившая профессию массажистки, она вяло похлопывала желающих ладошками по спине. Все остальное было от дома отдыха: разгул, озорная любовь в близлежащем лесочке, спевание песен — украинских по преимуществу,— каждый день кого-то провожали.

Этого человека я долго недооценивал. Точнее, не придавал значения небольшой сутулой фигурке, появлявшейся перед отбоем в главном вестибюле дома отдыха,— ночной дежурный, эка невидаль! Старый ватник, кирзовые сапоги, военная фуражка без эмблемы — ничего примечательного. Впрочем, трудно вообразить человека, который мог бы произвести впечатление в главном вестибюле нашего дома отдыха. Тут все, независимо от роста, стати и осанки, были умалены до ничтожности громадой мраморных пространств и устрашающей медной миллионотонной люстрой, будто рухнувшей с незримого в сумрачной выси потолка и в последний миг подцепленной могучим чугунным крюком. Здесь потерялся бы и Геракл, что же говорить о невзрачном вахтере пенсионного возраста.

Надо было сойтись с ним нос к носу, чтобы не давило мраморно-пластиковое великолепие чудовищных сеней, увидеть вблизи его холодно-цепкие глаза, упрятанные в тень от лакированного козырька низко надвинутой фуражки, недвижимое серое лицо с ножевым разрезом беззубого рта, и надо, чтобы чепуховая ваша просьба расплущилась о сознательную глухоту, чтобы почувствовать странную силу этого человека.

Я должен был срочно позвонить редактору телевидения, а оба телефона-автомата не работали. Если я не позвоню, снимут передачу, и редактора ждут крупные неприятности. Меж тем уже был отбой, и последние запозднившиеся в парке отдыхающие со смущенной улыбкой проскальзывали мимо вахтера. Когда тот собирался запретить входную дверь, влетел запыхавшийся парень в шерстяном свитере с хомутно растянутым воротом и с наивными латками на локтях.

— Я ничего, Егор Петрович...— залепетал он с дергающейся улыбкой.— На длинных санках катался... Полный порядок...

Егор Петрович ничего на это не сказал, только посмотрел из-под козырька фуражки и поманил парня к прилавку регистратуры.

— Читай! — кивнул он на лежащий под стеклом «Распорядок дня» и стал выбивать ладошкой окурок из мундштука.

— Подъем в семь ноль-ноль,— прочел парень, щуря ярко-синие близорукие глаза.— Зарядка в семь тридцать...— он вопросительно глянул на Егора Петровича, тот снова кивнул, мол, продолжай, и парень, запинаясь, путаясь и поправляясь, дочитал весь длинный перечень до конца.— Отход ко сну в двадцать три ноль-ноль.

— Время знаешь? — спросил Егор Петрович, заряжая мундштук новой сигаретой.— Сколько сейчас?

— Двенадцатый...— парень поднес к глазам наручные часы и поправился.— Двадцать три часа восемь минут.

— То-то... Нарушение режима. А как положено с нарушителями?

— Да нешто я один?..— беспомощно сказал парень.

— На других нечего кивать,— наставительно произнес Егор Петрович, окутываясь синим дымом.— С другими и разговор другой. Мы твой проступок обсуждаем, как он есть грубейшее нарушение правил внутреннего распорядка. Нарушитель карается лишением путевки и выдворением из зоны отдыха.

Какая-то запоздавшая пара подняла шум за дверью, требуя, чтобы пустили. Егор Петрович не спеша пересек вестибюль, всмотрелся сквозь отражающее стекло и отпер.

— Они вон хуже моего опоздали,— сказал парень.

— Ты за других не переживай. Ты за себя переживай. Мы с тобой как условились? В номере — хоть зайлесь. Наружу — ни шагу.

— Да ты что, Егор Петрович?.. Я в рот не брал!.. Говорю, на санках катался... на длинных санках! — Он особенно напирал на последнее обстоятельство, то ли находя в нем подтверждение своей честности, то ли потрясенный отроду не виданными металлическими санками с удлиненными сзади полозьями, на которых можно было, разогнавшись, ехать, держась за высокую спинку сиденья.

— Я тебе одно, ты мне другое! — расстроился Егор Петрович.— Тебе про Фому, а ты про Ерему. Ты опоздал? Опоздал. Нарушение это? Нарушение. Должон я рапорт подать? Должон. Подлежишь ты отчислению? Подлежишь. А уж выпивши ты или нет — дело твое. Если хочешь знать, даже хуже, что с трезва такое позовляешь. И чего ты гордишься-то? «В рот не брал!..» Мы-то знаем, как ты не берешь. Нешто не так?

Парень понурился. Я не мог понять, почему он, такой молодой и крепкий, тушется перед этим недомерком. На румяной щеке парня, над пухлой, как у ребенка, верхней губой темнела родинка, из которой рос золотой волос, завившийся спиралью. В растерянности он то и дело

дергал этот волос, растягивая его на вершок. Возможно, то был его талисман, призванный помогать в беде. Видать, сходная мысль проникла и под фуражку ночного дежурного.

— И чего ты себя за волос дергаешь? Не испугались. Видали мы и с волосом, и с чем похуже.

— Да нет... Я так... Извини, конечно, Егор Петрович.— И тут его озаарила спасительная идея.— Хочешь, лестницу вымою?..

— Дурной ты, ей-богу!— все еще недовольно, но словно бы чуть смягчившись, сказал Егор Петрович.— Воспитывай таких!.. Ладно, ступай. А распорядок дня подучи. В армии служил?.. Устав наизусть знал?.. То-то и оно! Вот так же вызубри распорядок. Чтoб ночью разбудили, а ты как по-писаному!..

— Сделаем!— жалко повеселел парень и рысцой устремился к себе в номер.

Эта сцена приоткрыла мне характер дежурного. Трудный случай. Его не возьмешь на мелкую дачу морального или материального толка. Всем этим он достаточно избалован грешными обитателями нашей здравницы. Но что за странную фразу обронил парень насчет мытья лестницы? Неужели он это серьезно?.. Чепуха, для этого существуют уборщицы, полумойки, и при чем тут ночной дежурный? Парень сделал свое дикое предложение не в буквальном, а в символическом смысле: вот, мол, на что он готов ради почтенного Егора Петровича. Мне необходимо позвонить в Москву, это можно сделать только из регистратуры. Но путь к телефону преграждает непреклонный Егор Петрович. Я должен расположить его к себе. Как?.. Я ощутил внутри знакомое щекотание, с каким истощает чувство собственного достоинства в столкновении с непреклонной действительностью. Но у меня нет выбора. Я не могу подвести редактора и наше общее дело. Мне необходимо расположить к себе человека с холодно-цепким взглядом, упрятым под козырек фуражки.

Вернейший путь к сближению — принести в жертву кого-то третьего. Опоздавший и униженный парень с родинкой над детской губой вполне годится для заклания. Я вспомнил большую, мешковатую, крупную фигуру, широкое, румяное с мороза лицо, ярко-синие растерянные глаза, пальцы, вытягивающие в струну золотой волосок, и с чувством глубокого презрения к себе сказал:

— Ну, и тип!.. Он что — того?

— Чего — того? — зыркнул белесо из-под фуражки вахтер.

Нет, на одной интонации не выехать, нужна полная определенность, не сверк ножа, а дымящаяся кровь. И тут кто-то затряс снаружи входную дверь. Страж пошел открывать, а я кинулся к телефону, лихо-радожно набрал номер и услышал в трубке короткие частые гудки. Наверное, отчаявшийся редактор пытался найти связь со мной.

Опережая выговор за свою дерзость, я принялся объяснять вернувшему Егору Петровичу со множеством ненужных подробностей, поче-

му мне необходимо позвонить в Москву в столь позднее время. Мне казалось, что это правильный ход. Каким бы суровым, жестким, непреклонным ни был Егор Петрович, и он, поди, не застрахован от колдовских чар кошачьего глаза телевизора. Надо сделать его соучастником важной государственной заботы, показать, что в его и только в его власти — ответственнейшая передача, которая вылетит из программы, если мы не дозвонимся редактору.

— Как вы назвали товарища? — спросил Егор Петрович, терпеливо и холодно выслушав мое витийство.

— Редактора?

— Нет... Про которого передача.

— А-а!.. Стравинский. Игорь Стравинский. Полностью — Игорь Федорович Стравинский. Знаменитый композитор.

— Не знаю, — чуть подумав, сказал Егор Петрович.

Я возложил на Стравинского вину за то, что его слава обтекла слух Егора Петровича. Но, обрисовав тернистый путь композитора, рано уведший его от родных берез, я постарался не слишком ронять престиж блудного сына российской гармонии в глазах вахтера. Сбитый с толку его неодобрительным молчанием и окончательно запутавшись, я прибег к безошибочному ходу: передача санкционирована сверху — и воздел очи горé.

Егор Петрович с важностью кивнул, подтвердив тем самым, что учитывает последнее обстоятельство, но разрешения звонить все же не дал. То ли, избегая ответственности, он позволял мне поступить по собственному усмотрению, то ли ему требовались какие-то дополнительные доводы, объяснения, заверения и гарантии. Обнадеживало, что он не гнал меня в номер, терпел мое незаконное пребывание в вестибюле.

— Я всю жизнь с людьми работал, — сказал вдруг Егор Петрович, — на Дальнем Востоке и на Севере. Всякое видел и ничему не удивляюсь. Но и не потворствую.

Я не понял, в кого он метит: в Стравинского с его сложной судьбой, или в меня с моими неправомерными посягательствами, но оказалось, что он имел в виду нарушившего режим парня.

— Механизатор!.. Из-под Липецка. На уборочной отличился — ему из Сельхозтехники — путевку. Бесплатно. Парень сроду в домах отдыха не бывал, а тут не просто дом отдыха, а санаторного типа. Высшей категории. Примечаете? В Москву приехал, первым делом костюм справил. Финский. Сто восемьдесят рублей. Костюм, правда, хороший. Чистая шерсть, в клеточку. Он как появился, я думал: артист — костюм финский, рубашка под галстук, корочки заграничные. К нам часто артисты приезжают. Которые отдыхать, а которые в сауне попариться и пивом налиться. Рожа его выдавала, хотя артисты тоже мордастые бывают, а главное — руки, мазут в кожу ввелся, и под ногтями черно. Но мне-то какое дело — путевка есть, значит, живи. Он и живет и костюм свой

треплет. С утра напялит и ходит, как ненормальный, в рубашке и при галстуке. Все люди, как люди — в спортивных костюмах и кедах, а этот — смотреть противно. Да мне-то что? Твой костюм, не мой, занашивай, мни, протирай задницу. Но так, не скажу, — тихо держался. Никого не трогал. И все один. Вроде бы стеснялся. Деревня. В столовую всегда первым шел, а после в вестибюле стоял и на люстру глядел. Интересовался, свалится или нет. Ни в бассейн, ни в бильярдную, ни в спортивную залу, ни на улицу — никуда не ходил. Даже в буфет. Кино, правда, смотрел и на танцы являлся, только сам не танцевал. А потом к нему друг приехал. Из одной деревни. Зачем-то в Москву занесло, ну и решил проверить, как земляку отдыхается. Очень наш отдыхающий ему обрадовался, всюду провел, все показал, хотел даже в буфете угостить, но тот застенялся, одет неважно — ватные брюки, сапоги. Потом они польта надели и куда-то двинулись. Я все это видел, потому как дневную дежурную замещал. У ней дочка рожала. Пошли и пропали, ну, думаю, взвились соколы орлами. Я ведь всю жизнь с людьми работал, все наскрозь вижу. Вернулся механизатор один, в первом часу ночи. Пустил, а он — вдугаря. Все: «Папаша!.. Папаша!...» Разговорца, вишь, захотел. А какой я ему папаша? У меня имя-отчество есть. Сперва, говорю, обращению научись, тогда я тебя, может, выслушаю. А сейчас иди спать, чтоб хуже не было. Обиделся. «Никуда я не пойду!.. Нечего командовать!..» И руками кидает. Подумаешь, испугал. Я всю жизнь с людьми работал, меня этим не возьмешь. И как он заткнулся, я ему спокойно: ступай в номер, не порть карьеру. Иди, а то рассержусь. Но, видать, ему вовсе ум отшибло — не слышит. Буду, говорит, всю ночь тут сидеть, а тебе докажу. Я с комбайна по шестнадцать часов не слезал, чтоб хлеб людям дать. А ты кто такой?.. Примечаете? Хоть пьяный, а как оскорбить — соображает. Только мне все это до фени, еще неизвестно, чья работа государству нужнее. Сейчас я, конечно, на пенсии. Заслужил. А всеж-ки, пользы приношу, хотя бы ночной вахтой. Ступай, говорю, в номер, тут тебе не Выселки, живо роги обломаем. Я говорю, но без пользы мои слова. Он в таком градусе настроения, что только наперекор может. Обозвал меня гестапом и на лавку плюхнулся. Сидит, качается взад-вперед, головой мотает — сон гонит и верит, что сильно грозен, а у самого слюна изо рта ползет. Я курю себе и знаю наперед, чего дальше будет. И маленько удивляюсь, почему другие этого сроду не знают. Поворочался он еще и уснул. И захрапел ужасно, потому как ему сразу к дыхалу подкатило. Потом свистнул носом и пошел выворачиваться. Весь обед из себя выдал, а кормят тут исключительно и сроду в добавке не отказывают. После стал желтью травить — себе на пиджак. Напоследок его так скорчило, что он застонал и проснулся. И сразу протрезвел. Ну вот, говорю, видишь, как костюм уделал. А пошел бы к себе в номер, ничего б не было. Он молчит и трет рукавом лацкан. А лицо, как у дурачка какого или маленького, ну, прямо от мамки потерялся. Он, видать, хорошо выпивку держит, и срамотно ему, что так опозорил-

ся. От нервов, надо полагать. Землячка стренул, крылья распустил, разволновался. Бросил он лацкан тереть и за голову схватился. «Ах, господи!.. Ах, господи!..» Ну вот, боженьку вспомнил. Бог, говорю, тебе не поможет, ты вон какой костюм испортил. «Да ну его к лешему, этот костюм. Плевать я на него хотел!» Не больно, говорю, плюйся. Сто восемьдесят на земле не валяются. Ишь, какой богач! А он опять за свое: «Ах, господи!» Раньше-то о чем думал? Перед дружкой изгалялся, десятки в ларьке швырял? Характер показывал?.. Механизатор!.. Вот намеханичил, теперь расхлебывай. А он встал, шатается. Куда, говорю, нацелился? «Как куда — в номер». В номер надо было раньше идти, когда тебе указывали. А сейчас, чтоб всю эту грязь прибрать. А то директору доложу. Дадут тебе отсюда под зад коленкой, да еще на работу сообщат. Тут он увидел, что на полу напачкано. «Да уберу... о чем разговор? Ведро есть?» Вон, говорю, ведро и тряпка, а вода — в туалете.

Парень он рукастый. Хоть и ослабемши, а быстро управился. Быстрей некуда. Отделался, можно сказать, а не восчувствовал свою вину. Вишь, какой размашистый: костюм испортил — не жалко, нашивил — пожалте, уже прибрано, человека при служебных оскорбил — хоть бы что! Так не пойдет. Это не жизнь в осознании будет, а баловство одно. Я ведь с людьми работал, знаю. И как он все за собой подтер и тряпку выжал, я говорю: а теперь лестницу вымоешь. «Да я к ней не подходил!» Не подходил — подойдешь. Он прямо задохнулся. «Что я тебе — уборщица?» А ты, говорю, не кричи. Чем ты уборщицы лучше, она не безобразничает, она за всеми вами грязь подбирает. А вот теперь ты потрудишься за вину свою перед общественным местом. Затрясаюсь аж, не обязан! Ну, философ!.. А не обязан, говорю, собирай вещи. Дома тебя стренут цветами и поцелуями. Как пустит матом и кулаком замахнулся. Я сразу за карман. У меня там, кроме сигарет и спичек, ничего нету. Но разве это важно? У другого пусть граната в гашнике, а бросить побоится. А у меня и пачка «Примы» выстрелит. Всю жизнь с людьми, научился. Он оступил и вроде бы теперь меня понял. Конечно, неохота ему перед земляками срамиться — дружок-то, небось, с три короба нагородил, в каких он хоромах обитается. И нате, явился, не запылился... Обратного его спутри затолкало, да ничего уже в нем не осталось, даже желти, так... водой отрыгнул...

— И вымыл он лестницу?

— А как же? Конечно, вымыл всю, снизу доверху, каждую ступеньку и все площадки. И сухой тряпкой протер. Отнес ведро и спать пошел. Я ему велел костюм в чистку отдать. Следы останутся, но носить можно. И наказал: пить только в номере. Запрись, говорю, на ключ, костюмчик сними, он, хоть и порченный, а еще денег стоит, и в маечке, в спортивных брюках пей, сколько душе угодно. Никто тебе слова не скажет. Иначе поссоримся. Ну, вы сами видели: держится культурно, хоть и опоздал. Может, правда, санками увлекся? Выхлопа я не почувал. Ну, это мы еще проверим... Ладно, заговорились. Иди, звони и — по местам!



Я не заметил, когда мы с ним перешли на «ты». И что означало это «ты» — доверие или пренебрежение? Но как могло последнее возникнуть, если я все время молчал? Очевидно, при его опыте работы с людьми собеседнику и рта не нужно открывать, чтобы сполна выявить свою жалкую суть?

Свои слова он сопроводил короткой усмешкой — на выдохе, и в лицо мне ударил нестерпимый смрад. Этот моралист был проспиртован насквозь, закусывал же он чем-то тухлым и луком. Мне стало дурно...

И вот я ползаю на коленях по мраморному полу с мокрой тряпкой и смятенно поглядываю на широченную лестницу — хватит ли на нее сил? А что делать?.. Мне в Италию лететь. Господи милосердный, сколько лет ждал я этой поездки! Милан, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь... Тайная Вечеря, памятник Коллеоне, Сикстинская капелла!.. Но между мной и небом Италии вырос этот громадный карлик с гнилой утробой. И я кунал тряпку в горячую воду и шмякал на мраморные плиты. Вода растекалась по глади, я неумело гонял ее полукружьями под неотрывным призором холодно-цепких глаз. Снова кунал и снова шмякал за Леонардо... за Тинторетто... За Вероккьо... за розовые стены Дворца дождей... за серебристый каскад Тиволи... за красный купол Брунеллески...

Видение возникло и погасло в те краткие мгновения, что я боролся с подступившей дурнотой. Но я справился, так что ночной дежурный даже не заметил моей слабости, и стал набирать телефон редактора.

## СОДЕРЖАНИЕ

В дождь . . . . .	3
Сауна и зайчик . . . . .	34
Ночной дежурный . . . . .	41

Юрий Маркович НАГИБИН

В ДОЖДЬ

*Рассказы*

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 1.08.88. Подписано к печати 26.09.88. А 11788. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,32.  
Тираж 150 000 экз. Зак. № 2857. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## ● ПРОКАТ — ДЕТАМ

В семье появился маленький ребенок.  
Ему понадобятся кроватка, коляска,  
манеж, детский стульчик, ванночка,  
весы.

**ВСЕ ЭТО МОЖНО ВЗЯТЬ НАПРОКАТ.**

Когда малыш подрастет, его родители  
возьмут в салонах и пунктах проката  
велосипед, педальную машину,  
самокат.

**Росбытреклама**